

М. К. ПЕРВУХИН
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
НАПОЛЕОНА

**БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**





Раритетъ

БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ И
НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА
Типография Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой дом
1917 г.

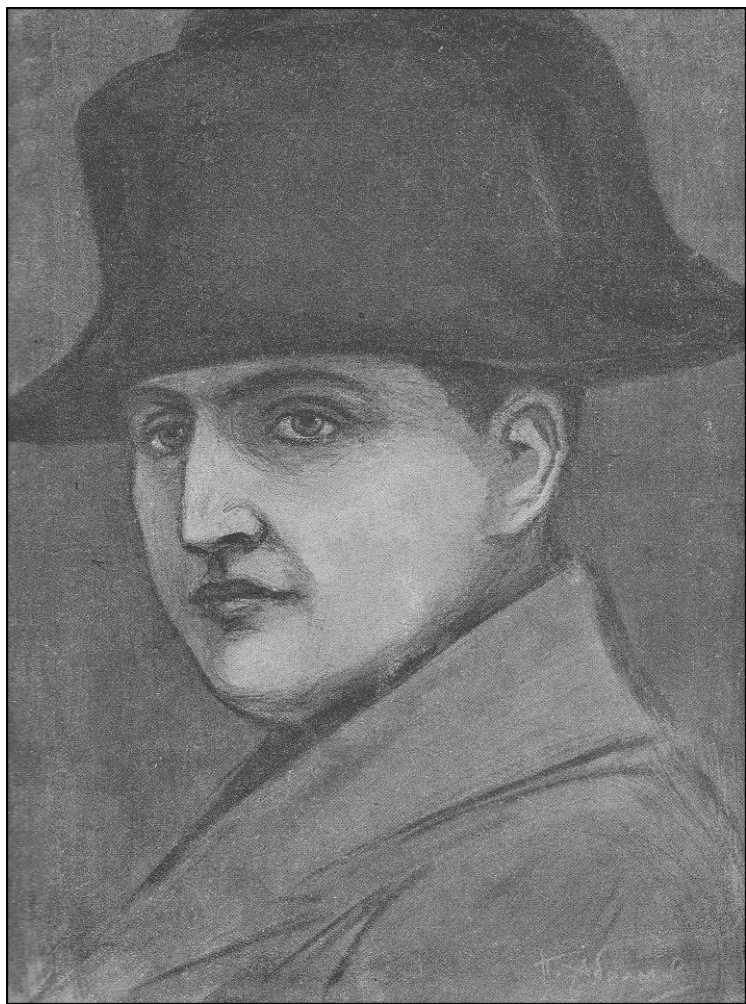
М. К. ПЕРВУХИН

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. Абрамова

РаритетЪ
2013



Вторая жизнь Наполеона.

Повѣсть
М. К. Дєрвухина

Часть первая

I

Почему мистер Джон Браун написал свои мемуары.

Дорогой сын мой! Слава Создателю, я, твой отец, еще не стар: в текущем 1839 году мне исполнилось всего лишь сорок шесть лет. Мы, Брауны из Гиддон-Корта, от природы отличаемся крепким телосложением, и в нашем роду всегда имелось немало людей, выделявшихся своим долголетием. Ты, хоть сейчас еще и ребенок, все же хорошо помнишь своего дедушку, а моего отца, мистера Никласа Брауна: когда он утонул в прошлом году, переправляясь в рыбацкой лодке на остров Уайт, тебе было девять лет, а ему — больше восьмидесяти. Но и тогда он, твой дедушка, имел целыми почти все зубы, за исключением двух передних, выбитых ему французской пулей при Ватерлоо; он был крепок, как дуб, и жив, как молодой человек. Прожил бы смело до ста лет, если бы не несчастный случай, о котором я сказал выше. И я, в свою очередь, надеюсь, если на то, конечно будет воля Божья, прожить еще многие и многие годы, увидеть тебя взрослым чело-

веком, дожидаться появления на свет твоих детей, а моих внучат. Шансы на это дает мне мое поистине железное здоровье, которым я могу гордиться: ведь, если бы не это железное здоровье, то, по всей вероятности, я давно лежал бы в сырой земле. А вернее не лежал бы: там, где погибло большинство моих товарищей и спутников, там, где встретил свой последний час он, человек, памяти которого посвящена эта книга, — нам не приходилось соблюдать церемоний с трупами. О, скольких умерших мы тогда просто оставляли по дороге в лесу?!

Но я чувствую, что забегаю вперед. Поэтому говорю себе:

— Стоп, Джон! Ход назад!

И возвращаюсь к моему повествованию.

Итак, я, кажется, могу рассчитывать еще на много лет жизни. Но за последнее время я стал замечать, что память моя немного изменяет мне; это, как говорит доктор Мак-Кенна, естественное и законное явление. Память моя несколько тускнеет по отношению к тем событиям, которые в течение ряда лет заполняли все мое существование. Уже далеко не таким ясным кажется мне полный противоречий образ *его*, человека, с которым судьбе угодно было надолго связать меня. Я не раз с удивлением замечал сам, что позабыл добрую половину его любимых словечек, которые когда-то знал наизусть. Перебирая в памяти ряд событий, производивших на меня *тогда* глубочайшее впечатление, я обнаруживаю, что не всегда уже могу поставить эти события в связь.

Все эти симптомы заставляют меня позаботиться о том, чтобы сохранить для тебя, — моего единственного сына и наследника моего имущества и моего доброго имени, — мои воспоминания в виде документа.

Правда, я не мастер писать: и вообще-то учился не с достаточным прилежанием, как, впрочем, и большинство мальчиков той бурной эпохи, к которой относится моя юность; а потом, принимая непосредственное участие в великих событиях ее, странствуя по морям и по суше, подвергаясь бесчисленным опасностям, я перезабыл и то немного, что выучил в старые годы. Таким образом, тот труд, за который я берусь сейчас, вовсе не кажется мне ни простым ни легким. Написать мемуары...

Я на днях проглядывал твое первое школьное сочинение и по-divился остроте твоего детского пера, мой Джимми. Молодец, право! Продолжай в том же духе, и, я в этом уверен, со временем Англия будет зачитываться романами Джемса Брауна, как сейчас зачитывается романами знаменитого сэра Вальтера Скотта, великого шотландца...

Если бы я, берясь за написание своих мемуаров, назначал их для опубликования в печати, то, уверяю тебя, я бы от робости напугал Бог знает чего. Но мое писание света не увидит: ты, хоть ты еще и ребенок, но знаешь, что я, твой отец, и те немногие мои товарищи, которые еще живы, связаны клятвой и честным словом хранить молчание до 1871 года. А ждать еще так долго...

Мои мемуары предназначены для единственного читателя, то есть для тебя, Джимми. Мне перед тобой нечего стыдиться: если я напишу и не совсем складно, ты не осудишь.

А написать я чувствую себя обязанным: суть в том, что время от времени и сейчас о тех событиях, свидетелем которых я был, распространяются ложные слухи. Находятся бессовестные люди, которые совершенно к этим событиям не причастны, но, пользуясь общим легковерием, выдают себя за героев, рассказывают

небылицы, и даже — я стыжусь сказать это, — даже вымогают деньги у нашего покровителя и благодетеля, молодого лорда Дугласа Голланда, сына великого и незабвенного отца, память которого я чту сам и тебе завещаю чтить свято до конца твоей жизни.

Может быть, и тебе когда-нибудь придется встретиться с кем-нибудь из этих наглецов и услышать их глупую и хвастливую болтовню. И вот на этот случай я и хочу записать все, мне известное, как можно подробнее, заботясь лишь о точности и не думая о красоте слога. Кстати: запомни пару имен.

Так называемый «шевалье» Жан-Ришар Дерикур де Монтальба, как я неоднократно слышал, готовит даже к печати брошюру, посвященную нашему делу. Воображаю, как много чепухи наговорит он в ней, пользуясь тем обстоятельством, что я, будучи связан честным словом, не могу выступить с опровержением!

Если тебе случится столкнуться с этим «мнимым шевалье», то знай: добрая половина того, что он тебе расскажет, — плод его фантазии.

Он не лжец в нашем смысле слова. Но он провансалец, уроженец знаменитого города Тараскона. А все тарасконцы увлекаются собственными фантазиями до такой степени, что мало по малу сами начинают верить им и готовы отстаивать их с пеной у рта и со шпагой в руке.

Истинную роль Жана-Ришара Дерикюра ты увидишь из моего дальнейшего повествования.

Запомни еще имя мистрис Джессики Куннингем: не знаю, по каким именно побуждениям, но она тоже любит приписывать себе чуть ли не руководящую роль в данных событиях. На самом деле ее роль была очень скромной, и

особенно хвалиться ей, клянусь Богом, решительно нечего...

Но эти оба, все же, просто болтуны и хвастуны. И в их повествованиях имеется значительная доля истины. Они только переоценивают свою роль. Это, конечно, проявление человеческой слабости...

Неизмеримо хуже Патрик Альсоп, которого однажды ты видел, — и ты не забудешь, при каких обстоятельствах...

В зале гостиницы «Меч Веллингтона», в большом обществе, не подозревая о моем присутствии, этот пьяный ирландский пес позволил себе распустить язык, рассказывая невероятные небылицы, и дошел до того, что осмелился издеваться надо мной, твоим отцом.

Помнишь, что вышло тогда?

Я встал, подошел к месту, где сидел Патрик, положил руку ему на плечо и сказал:

— Мистер Альсоп! Может быть, присмотревшись ко мне, вы узнаете одного старого знакомого, имя которого вы только что упомянули при почтеннейшем собрании...

Он вздрогнул при первых же звуках моего голоса, смертельно побледнел, пробормотал проклятие, хотел подняться, чтобы броситься на меня, но силы изменили ему, и он упал под стол в обмороке...

Единственным человеком, всем показаниям которого о великих событиях ты можешь верить, является старый друг нашей семьи, доктор Гарри Мак-Кенна.

Если в моих мемуарах ты встретишь что-либо, нуждающееся в разъяснении или дополнении, прошу тебя, не обращай ни к кому, кроме доктора, и знай: что он скажет, то будет правда.

Ну, вот, я, кажется, благополучно привел к концу предисловие, которым хотел начать по общепринятому обычаю свои мемуары. Проглядывая то, что я уже написал, я вижу немало недостатков, но не обращаю на них внимания. Во всяком случае, дело пойдет, я в этом уверен.

А если ты и обнаружишь кое-какие дефекты в моем писании, то, конечно, будешь помнить: твоему отцу было куда сподручнее держать не перо из гусиного крыла, а тяжелую абордажную саблю с широким клинком, или мушкет с примкнутым к нему штыком.

II

О том, как мистер Гарри Браун старший потерял пару передних зубов верхней челюсти, а мистер Джон Браун получил щелчок в лоб и золотую табакерку императора Наполеона, едва не был расстрелян Неем и научился уважать его.

Вы, люди нынешнего времени, вы, растущие в мирных условиях, мало-помалу начинаете позабывать весь цикл великих событий начавшихся в конце прошлого, восемнадцатого, века и захвативших полтора десятка лет века нынешнего, девятнадцатого.

Многое из того, что тогда случилось и чему были свидетелями мы, ваши отцы и деды, вам кажется уже легендой или сказкой.

И вы, — это совершенно естественно, — совершенно иначе смотрите и на деятелей той грозной эпохи, чем привыкли смотреть мы.

Недавно, в одну из моих поездок в Эдинбург, мне пришлось

слышать от одного молодого человека, имя которого я упоминать считаю совершенно излишним, что император французов Наполеон I был не больше, как мелким авантюристом и трусишкой, расправа с которым не представляла ни малейшего труда для Англии. Если когда-либо тебе придется услышать что-нибудь подобное, Джимми, помни: это — ложь.

Наполеон I был смертельным врагом Англии. Это правда. Но он был великим врагом и страшным врагом.

Молодые люди, бывшие в пленках в те годы, когда мы дрались на суше и на море с солдатами Наполеона, могут высмеивать «Маленького капрала». Благо и сейчас еще в нашем английском обществе к нему относятся недоброжелательно. Но те, которые этим высмеиванием занимаются, забывают следующее: высмеивая и унижая побежденного нами врага, они унижают прежде всего нас, своих отцов, вынесших всю тяжесть многолетней и беспощадной борьбы с Наполеоном.

Если побежденный был ничтожеством, то чего же стоит его победитель?!

А я отлично помню, как в ожидании высадки войск «Бони» на берегах Англии, когда Наполеон собрал свою великолепную армию в булонском лагере, — вся жизнь Англии была омрачена каким-то злым кошмаром; время от времени на побережье поднималась паника, потому что разносились вести, будто Наполеон уже тронулся, будто его боевой флот и транспорты с войсками, обманув бдительность нашего флота, рейсировавшего в Канале, приближаются к нашей земле...

Теперь, когда жизнь вошла в мирное русло, люди начинают жить поздно. В дни моей юности, когда Англии приходилось

напрягать все силы в борьбе с «Маленьким капралом», мы начинали жить очень рано. Мы научались владеть оружием в такие годы, когда вы научаетесь только владеть молотком для игры в крокет.

Мой отец, мистер Гарри Браун из Гиддон-Корта, утонувший в прошлом году у берегов острова Уайта, наделал в дни молодости немало глупостей, запутался в долгах, и, не зная, как выпутаться, нашел исход: завербовался простым солдатом в один из линейных полков. С этим полком он побывал в Канаде, дрался там с янки и с ирокезами, и там же, именно в Квебеке, уже успев при помощи военной добычи купить себе патент поручика, женился на дочери своего сослуживца, мисс Мабэль Рамбаль, полуангличанке, полуфранцуженке. От этого брака там же, в Канаде, во время похода против ирокезов генерала Смитсона, моя мать родила меня: бедняжка всегда сопровождала своего мужа в походах...

Было это в 1793 году, в том самом году, когда во Франции разыгрались кровавые исторические события, и впервые мир почувствовал близость великого политического урагана.

В следующем, 1794 году, тот полк, в котором служил мой отец, был переведен из Канады в Англию, затем отправлен в Ост-Индию, а оттуда по истечении нескольких лет — в Испанию. Первые люди, с которыми я познакомился, были солдаты. Первые разговоры, которые я слышал, были разговоры о боях.

И естественно, все мои думы были связаны с боевой жизнью. В те годы особых формальностей не было, и отцу, тогда имевшему уже чин капитана и командовавшему ротой, не представилось ни малейших затруднений зачислить меня в свою же роту в каче-

стве волонтера. Ребят всегда привлекает музыка. Я не был исключением: я с детства питал какое-то граничащее с обожанием уважение к барабану.

Отец воспользовался этим — и из меня сделался лихой барабанщик, когда мне исполнилось всего двенадцать лет.

В качестве барабанщика я участвовал в походах и боях и был дважды ранен. Один раз какой-то испанец едва не застрелил меня, в другой раз французский сержант пропорол мне бок штыком.

Выросши, я разлюбил барабан, и сделался просто рядовым солдатом. И в качестве солдата я принял участие в великом бою при Ватерлоо.

Наша рота, — то есть, та рота, которой командовал мой отец, — попала в одно из самых опасных мест боя. Французская артиллерия буквально засыпала нас картечью. Это был излюбленный прием «Бони», подготавливавшего атаку артиллерийским огнем. Потом на нас, как железный ураган, обрушился полк императорских гвардейцев-кирасир. Мы держались стойко под артиллерийским огнем, не отступая ни на шаг. Но полк таял, как воск на огне, и, когда кирасиры налетели на нас, мы уже не могли оказать сопротивления. На моих глазах были изрублены последние люди нашей роты палашами кирасир, которые, уверяю честным словом, крошили нас, как капусту.

За несколько минут до атаки к нам подскочил адъютант Веллингтона:

— Приказано держаться, не отступая, до последнего человека! — крикнул он. И это были его последние слова: французское ядро буквально разорвало его пополам.

Но приказ Веллингтона был исполнен свято: мы держались на

своей позиции до последнего человека. Собственно говоря, этим последним человеком был именно я, Джон Браун: мой отец, отдававший команду солдатам при приближении кирасир, получил неведомо откуда прилетевшую пулю как раз в тот момент, когда он кричал: «Держитесь, ребята!» Пуля, по-видимому, была на излете, и ограничилась только тем, что выбила у отца два передних зуба на верхней челюсти. Их, эти зубы, отец выплюнул на землю вместе с пулей в тот момент, когда кирасиры, уже растоптав копытами коней остатки нашего полка, мчались куда-то дальше. Отец был сбит с ног ударом французского палаша и выронил полковое знамя. Я подхватил это знамя, нашу святыню, но в это мгновение огромный караковый конь капитана кирасир подмял меня под себя, и я покатился в ров.

Должно быть, то, что я тогда проделал, было чисто инстинктивным движением: я думал о том, как спасти нашу святыню, наше знамя, побывавшее в сотне сражений в Америке, в Индии, в Испании. Барахтаясь в груде людских и конских трупов, я сорвал полотнище знамени с древка и сунул его себе за пазуху.

Пять минут спустя я и мой отец, оба были взяты в плен набежавшими вслед за кирасирами французскими егерями. А еще пять минут спустя мы оба, окруженные целой толпой блестящих офицеров, и, понятно, обезоруженные, стояли перед маленьким, смуглым и толстеньким человечком с римским профилем и с совсем не римским брюшком. Человечек этот имел на голове черную треуголку, на ногах белые лосиные штаны и лакированные ботфорты, а на плечах скромный серый сюртук со смешно болтавшимися сзади фалдочками.

Когда нас подвели к нему, он мельком взглянул на нас обоих

быстрым и проницательным взглядом своих глаз неопределенного цвета, нахмурил брови, подумал мгновение, потом на очень плохом английском языке спросил моего отца, все еще выплевывавшего из окровавленного рта осколки зубов:

— Какого полка?

— Одиннадцатого линейного! — ответил я за отца.

— А-а! — вымолвил, чуть улыбнувшись, человечек в треуголке и сером походном сюртуке. — Хороший полк! Он задал немало работы моим ребятам в Испании! Но, черт возьми, почему запаздывает генерал Груши? Поедем, господа!

Ординарец гигантского роста подвел ему чудесного белого коня. Собираясь уже сесть в седло, Наполеон, — это ведь был он, — спросил что-то вполголоса у стоявшего рядом с ним генерала с бледным и надутым лицом. Тот, отвечая, мотнул головой в мою сторону. Наполеон отошел от коня и отрывисто спросил меня:

— Что у тебя за пазухой?

Я не успел ответить: десятки рук схватили меня, тот самый генерал, с которым говорил Наполеон, рванул борт моего мундира, и скомканное полотнище нашего полкового знамени вывалилось. Но упасть в грязь ему не дали. Кто-то подхватил его и развернул. Наполеон взял его за конец странно белыми, пухлыми пальцами и сказал, — на этот раз уже по-французски:

— Первое отбитое у англичан знамя за этот день! Генерал Шарнье! Покажите это знамя моей старой гвардии и скажите, что это знамя самого Веллингтона! И скажите, что Груши подходит. Мы зададим славную трепку англичанам и пруссакам...

— Слушаю, ваше величество! — ответил Шарнье.

Еще минуту Наполеон стоял, как будто что-то соображая, около меня. Потом...

Потом он поднял руку, как будто собираясь ударить меня. Кровь хлынула мне в лицо.

Но вместо пощечины я получил только фамильярный щелчок в лоб, а потом услышал слова Наполеона, обращенные непосредственно ко мне:

— Ты — дурак! Но ты — brave солдат! И твой полк — великолепный полк... Вы держались, как черти! Я видел...

Затем он пошарил у себя в кармане, как будто собираясь вытащить оттуда пару монет. Не нашел ли он денег, или просто под руку подвернулась массивная золотая табакерка, — во всяком случае, он сунул эту табакерку мне за пазуху. И, круто повернувшись к свите, сказал повелительно:

— Это — мои личные пленники! Прошу о них позаботиться, господа!

Минуту спустя, тяжело и неловко забравшись в седло, он отъехал на своем чудесном белом коне в сторону. Отряд солдат окружил нас и повел в ближайший перелесок. А кругом творилось что-то невероятное: ревели пушки, визжали ядра, кроша людей, тучами проносились шедшие в атаку или возвращавшиеся на свои позиции конные полки. Разгорался бой, — великий исторический бой при Ватерлоо...

Вот, каким образом мистер Гарри Браун, капитан одиннадцатого линейного стрелкового полка, потерял два передних зуба, а рядовой того же полка, мистер Джон Браун, получил щелчок в лоб рукой императора Наполеона I и получил в подарок его золотую табакерку.

Часа два спустя в рядах французских войск началось снова какое-то сложное движение. Сторожившие нас французские егеря получили приказ отвести нас в сторону и повели, нет, не повели, а погнали по дороге мимо небольшой фермы. На балконе двухэтажного дома помещалась группа офицеров, среди которых были и люди в генеральских мундирах.

В то время, когда мы проходили мимо фермы, мой отец споткнулся и упал. Я, естественно, сейчас же остановился, и, хотя наши конвоиры заорали, требуя, чтобы мы продолжали путь, я уперся, как бык. Командовавший конвоем смуглый и усатый офицер в чине поручика взбесился, и, завизжав благим матом, набросился на меня с кулаками.

Солдаты последовали его примеру, и стали бить меня и отца прикладами ружей.

Один из генералов, стоявших на балконе, спросил у нашего палача, в чем дело. Тот, вытянувшись в струнку, доложил:

— Английские собаки оказывают неповиновение.

Генерал одним прыжком перемахнул через перила балкона, подбежал к поручику, побелевшему, как полотно, и бешено дернул его за плечо:

— Вы скот! Вы — идиот! — кричал он. — Вы осмеливаетесь бить безоружных и беззащитных пленников. Знаете, чего вы за это заслуживаете! Я, маршал Ней, расстрелял бы вас, если бы вы были под моим начальством! Марш! И не смей пальцем тронуть пленников! Можете расстрелять их, но... Но не бить, не бить, идиот вы этакий!

Поручик отдал честь, и нас снова повели, но уже не прикасаясь к нам и пальцем.

Это была моя первая и последняя встреча с маршалом Неем. Но ее одной было достаточно, чтобы я проникся к нему уважением.

Это был славный и храбрый солдат, и он даже во враге чтит солдата.

Во второй раз мы с отцом видели императора французов в тот же день, но уже в иной, печальной для него обстановке: генерал Груши, которого ждал Наполеон, запоздал, не явился, а на помощь к англичанам, уже почти раздавленным войсками Наполеона, подоспели пруссаки Блюхера; и французы, проиграв сражение, отступили, вернее, бежали.

Я видел, как паника овладела французами, как начался страшный беспорядок, и как мимо крестьянской фермы, на дворе которой мы с отцом находились под присмотром десятка малорослых молодых французских солдат, промчался мрачный, как туча, Наполеон. Наша стража, уже не заботясь о нас, улепетнула вслед за императором. Мы с отцом оказались свободными, но могли присоединиться к нашей победоносной, но страшно пострадавшей армии только на следующий день.

Нас опрашивал сам «железный герцог» Веллингтон.

Когда я показал полученную в подарок от Наполеона табакерку, Веллингтон грубо засмеялся и сказал угрюмо:

— Сколько хочешь за табакерку?

Не знаю, что именно побудило меня поступить так, но я положил ее в карман и сказал:

— Не торгую!

И опять я услышал то, что уже слышал от Наполеона:

— Ты — дурак! Но ты brave солдат!

К сожалению, Веллингтон оказался скупее императора французов, и свой комплимент по моему адресу не сопроводил подарком табакерки...

III

О том, как мистер Джон Браун стал женихом Минни Грант и познакомился с другими лицами, играющими большую роль в этом рассказе.

Ни мне ни моему отцу после Ватерлоо не пришлось больше участвовать в боях и походах. Отец расхворался и получил продолжительный отпуск. Я получил приказание отправиться в Лондон с делегацией, отвозившей туда для представления королю отбитых у французов знамен. А куда мы ездили в Лондон, «стодневное царствование Наполеона» кончилось, он сдался, вторично отрекся от престола и сделался пленником Англии.

Раз с Наполеоном было покончено, Англия поторопилась в видах экономии сократить войска, собранные для борьбы с Бонапартом, и мне не представилось ни малейшего затруднения, как волонтеру, выйти в отставку: я был сыт войной и не хотел больше ничего знать о ней. Мне было всего двадцать два года, а я уже участвовал в десятке больших сражений, не считая множества мелких стычек с врагами Англии в трех частях света, имел две раны, которых нечего было стыдиться, и получил от своего короля медаль за храбрость, а от императора французов золотую табакерку.

Какой-то газетчик нарисовал и напечатал, правда, не совсем похожий мой портрет, газеты много разговаривали о том, как я

был «личным пленником Бонапарта» и, как водится, плели небылицы. Когда я показывался на улице, девушки заглядывались на меня, а прохожие, видя мои воинственные усы и мою новешенькую медаль, расспрашивали меня о моих приключениях и охотно угощали сигарами и элем.

К этому, пожалуй, наиболее счастливому периоду моей жизни относится мое знакомство с мисс Минни Грант, которую ты, мой сыночек, знаешь уже под другим именем. Твоя будущая мать, а моя верная жена, была славной, стройной, как сосенка Корнваллиса, девушкой с голубыми ясными глазами и всегда приветливой улыбкой на алых устах. Жила она тогда, в качестве круглой сироты, у своей тетки, миссис Эстер Джонсон, помогая ей в хозяйстве. Она была бедна, как церковная мышь, но весела, как котенок, и голосиста, как жаворонок. Чуть ли не на третью встречу я называл ее уже Минни, а она меня — Джонни, и мы тут же решили, что повенчаемся, как только я найду хоть какое-нибудь место на фунт стерлингов в неделю. Ведь в те годы, несмотря на все крики о дороговизне, причиненной войнами с Наполеоном, жизнь была гораздо дешевле, чем теперь, четверть века спустя. И оба мы были молоды, и оба любили друг друга и с доверием смотрели в глаза будущему, полагаясь на собственные силы.

Муж миссис Джонсон, мистер Самуил Джонсон, приходился мне не то двоюродным, не то троюродным дядей. Раньше, до возвращения моего в Лондон после Ватерлоо встречаться с «дядей Самом» мне вовсе не приходилось. Но, попав в Лондон, я счел долгом разыскать его, как одного из немногих родственников со стороны отца, и в его доме нашел Минни... А увидеть Минни и не полюбить ее, было невозможно.

Если бы не некоторые обстоятельства, о которых я скажу сейчас, то я, разумеется, немедленно женился бы на моей милой Минни.

Обстоятельства же эти были таковы, во-первых, вмешалась проклятая собака, адмиралтейский писец, кривоногий мистер Патрик Альсоп, явно метивший на Минни. И его притязания, не знаю, почему именно, поддерживала миссис Эстер, тетка Минни. А во-вторых, дядя Самуил Джонсон возымел на меня какие-то виды, водил меня за нос обещаниями пристроить меня к какому-нибудь делу, заставляя отказываться от тех мест, которые мне подвертывались. Может быть, мне не следовало бы так слепо повиноваться ему, хоть он и был моим дядей: Джонсон был «морским волком» и пользовался славой отчаянного контрабандиста.

Репутацию эту он приобрел еще в те годы, когда Наполеон пытался разорить Англию при помощи своей пресловутой «континентальной системы», — и, как я знаю точно, порядочно на этом деле нажился. Кроме ремесла контрабандиста, Джонсон занимался при случае и каперством: получив патент от английского правительства, он снарядил и вооружил на собственный счет быстроходный двухмачтовый люгер «Ласточку» и взял немало призов. У французов Джонсон пользовался большой, но, конечно, своеобразной репутацией: уж очень он насолил им. В свое время адмирал Вильнев объявил, что за голову Самуила Джонсона заплатит двадцать пять тысяч франков, а если Джонсон попадет ему в руки живым, то он повесит его на первом попавшемся гвозде. Но дядя Сам и в ус себе не дул, только посмеивался над угрозами французского адмирала и его присных и пус-

кался в самые отчаянные предприятия, из которых не всегда выходил с добычей, но всегда невредимым.

Когда я познакомился с дядей Самуилом (меня к нему привел мой отец), то я уже знал, какой репутацией пользуется мой родственник, и диву дался, увидев его: это был средних лет человек, на голову ниже меня, скромно одетый и явно находившийся в полном подчинении у миссис Эстер Джонсон.

Уж если на то пошло, то скорее именно миссис Эстер и по наружности, и по манерам, и по способам выражаться, не стесняясь в употреблении крепких словечек и морских терминов, походила на морского разбойника...

В частной жизни мистер Джонсон казался мешкотным, неповоротливым, сонным, и даже трусливым, особенно в присутствии «милочки Эстер», которую он, впрочем, в дружеской беседе называл, «драконом в юбке» и «кремнем». Но поглядел бы ты, Джимми, на того же Джонсона, когда у него под кривыми ногами были планки его люгера, а морской ветер свистал ему в уши!

Тогда Джонсон оживал, щеки его розовели, глаза загорались огнем, голос креп, и матросы, как говорится, вытягивались в струнку, слыша его приказания...

В общем, как я понял только впоследствии, дядя Джонсон был человеком, способным связаться в самое отчаянное предприятие, и не столько из-за личной выгоды, сколько по прирожденной страсти к приключениям.

Я лично склонен к следующему объяснению этой его страсти к дальним плаваниям и приключениям: как говорится, уж слишком заедала его «милочка Эстер», когда он являлся домой.

И потому, вырвавшись из-под ее ферулы, Джонсон отводил душу по-своему...

Со мной дядя Сам очень скоро сошелся.

— Ты славный малый, Джонни! — говорил он, похлопывая меня по плечу. — Правда, пороку ты не выдумаешь. Его изобрели без твоего участия... Но это ничего. Зато на тебя можно положиться, как на каменную гору, Джонни. Ведь ты — как бульдог: раз вцепишься, так уж не выпустишь, и если дашь слово, так скорее подохнешь, чем решишься не выполнить обещанного. Ну, и еще: тебе, кажется, можно хоть миллион доверить на сохранение, — ты будешь охранять, а сам и пальцем не дотронешься... Эх, жалко Джонни, не попался ты мне раньше! Я в таком человеке, как ты, всегда нуждался. Ну, и поработали бы мы с тобой... Но, Бог даст, хорошие времена еще вернутся, Джонни. Ты только не торопись спускать паруса, бросать якоря и засесть где-нибудь в тихой воде. Еще время есть. Зачем тебе торопиться, Джонни?!

Признаться, в этом пункте я никогда не мог согласиться с дядей Самом, главным образом, понятно, из-за Минни: мне все казалось, что проклятая ирландская собака, писец Альсоп, перехватит у меня Минни при помощи своих сладких речей и стишков, написанных на розовой бумажке, да при помощи тетушки Эстер, явно благоволившей к нему.

Преследуя какие-то свои планы, дядя Сам придерживал меня около себя, время от времени давая кое-какие поручения и снабжая небольшими деньгами.

Меня это не удовлетворяло: хотелось иметь что-либо определенное и постоянное, не нравилось жить изо дня в день, в ожида-

нии какого-то «крупного предприятия», которое будто бы сразу поставит меня на ноги.

Но что же мне оставалось делать?

Коммерческих способностей у меня не было. Поступить в какую-нибудь контору клерком мне вовсе не улыбалось: я ведь привык проводить целые дни на свежем воздухе, под открытым небом. Собственных средств, при помощи которых я мог бы купить хоть клочок земли и сделаться фермером, у меня не было.

Вот и приходилось, как говорится, сидеть у моря и ждать погоды, а в ожидании перебиваться так и сяк.

Но было и утешение: я поселился отдельно от отца, в том же квартале, где стоял дом дяди Сама и мог бывать у него буквально каждый день, и мог каждый день видеть Минни.

Сам дядя Джонсон частенько отлучался из дому, иной раз на месяц и на два. По некоторым его обмолвкам я знал, что в эти отлучки он заглядывает и на континент: теперь, когда пал император Наполеон, а отношения между Англией и Францией приняли нормальные формы, дядя Джонсон мог, особенно не рискуя, бывать даже в Париже.

Что он делал на континенте, — я не знал. Думал, что он опять устраивал свои штуки по части контрабанды.

Иной раз, вернувшись из такой поездки, дядя Джонсон оказывался в очень дурном настроении.

— У этих французов нет ни чутья, ни инициативы. Растерялись, словно их кто дубиной по голове оглушил...

В другой раз он оказывался довольным результатами поездки и твердил, потирая руки:

— Кажется, взялись-таки за ум! Может быть, удастся нала-

дить одно дельце. И тогда, друг мой Джонни, ты, может быть, увидишь одного старого своего знакомого! Хо-хо-хо... Мы еще повоюем!

В середине 1817 года, вернувшись из одной такой поездки, кажется, в Лион и Марсель, дядя Самуил сказал мне:

— Ну, милый Джонни! Неужели тебя так-таки и не тянет посмотреть на тот край, где ты родился?

— На Канаду? — удивился я.

— Ну, не на одну Канаду! Ведь Канада в Америке... Собирай, дружок, свои вещи: едем смотреть Америку!

— Зачем, дядя?

— А так, мальчуган. Видишь ли, я — деловой человек. В Америке все сплошь — деловые люди. Ну, меня и тянет к ним. А ты для меня свой человек. Мне удобно держать тебя под рукой на всякий случай, потому что я на тебя могу положиться, как на каменную гору. Главное, ты учился подчиняться, не размышляя. А это очень важно в том маленьком, но рискованном дельце, которое я затеваю. Маленькое коммерческое дельце... Хо-хо-хо...

Мы вышли в море, благополучно переплыли через океан, добрались до Филадельфии.

Признаться, ничего особенно интересного я там не нашел: жизнь американцев, эта вечная погоня за наживой, эти вечные разговоры о сале, о коже, о ценах на пшеницу, о племенных баранах — все это меня заставляло только зевать. Кстати, на нас, англичан, наши заокеанские кузены посматривали не очень дружелюбно: еще не улеглись страсти, поднятые войной 1812 года, еще шли ожесточенные споры на злополучную тему: имели ли право бостонские арматоры захватить в начале июня английское

коммерческое судно «Адмирал Нельсон» за две недели до объявления войны.

Оставляя меня в гостинице, дядя Джонсон постоянно исчезал куда-то и возвращался в компании каких-то американских моряков, людей крикливых и бесцеремонных.

С ними дядя Сам вел таинственные переговоры, запершись в своем номере и обложившись морскими картами. Приходили участвовать в этих переговорах и люди другого сорта: какие-то важные коммерсанты, капиталисты.

Сути разговоров я не улавливал, но иногда при мне проговаривались, что речь идет о каком-то рискованном предприятии, выполнив которое можно нажить сто на сто и даже триста на сто.

Дядя Джонсон, по-видимому, встретил не совсем доверчивое отношение к своим проектам и предложениям, и потому горячился и злился.

— Тупоголовые квакеры! — говорил он ворчливо. — Такое простое дело, а они упираются...

И, вот, однажды, когда я, погрузившись в писание письма моей милой Минни, менее всего ожидал этого, дядя Джонсон прибежал в гостиницу, запыхавшись, и крикнул мне:

— Джонни! Собирай свои вещи! Мысию минуту отправляемся. Скорее, Скорее!

— Куда, дядя Сам? — искренне удивился я.

— В Новый Орлеан!

— Зачем? — еще больше удивился я.

— После узнаешь! Дело первостепенной важности!

И вот «Ласточка» на всех парусах понеслась на юг, направляясь к красавцу городу, Новому Орлеану.

IV

На сцену является мистер Костер, а мистер Джон Браун в Новом Орлеане слушает лекцию о подводном плавании.

Всю дорогу до Нового Орлеана, — а плыли мы туда ровным счетом три недели, не заходя ни в один из попутных портов, — капитан Джонсон ни словом не обмолвился о цели нашего путешествия. Из Филадельфии мы взяли с собой одного американца, по имени Чарльз Костер, человека той же категории, к которой принадлежал и «дядя Самуил», — костлявого и смуглолицего молодца лет за сорок, с кривым носом и с исполосованным рубцами лицом. Костер вообще словоохотливостью не отличался, но иногда проговаривался о людях, которых он знал, о землях, которые он посетил, и тогда оказывалось, что на земном шаре нет ни единого более или менее значительного уголка, где бы Костер не побывал.

Откровенничать Костер не любил, но в то же время не очень стеснялся в описаниях своих приключений и походов, и, основываясь на его же собственных обмолвках, я однажды осмелился задать ему вопрос:

— Простите меня, мистер Костер, но... но, если я не ошибаюсь, вы в былые времена занимались вывозом негров из Африки в Америку для плантаторов?

— При случае возил и негров! — не улыбнувшись, ответил янки.

— А... а не приходилось ли вам заниматься... пиратством?

— Немножко! — ухмыльнувшись, ответил Костер, раскуривая свежую сигару. — Но это было в молодости. Глупое

занятие, которое вовсе не так прибыльно, как о нем думают.

— Кажется, вы были королем у каких-то индейцев?

— Дважды, мой юный друг! В первый раз в 1796 году я сверг с престола одного глупого кацика племени краснокожих, обитающих в среднем течении Амазонки. Престол, собственно говоря, меня не прельщал, потому что у этих идиотов имеется глупейший обычай время от времени угощать своих кациков стрелами, кончики которых пропитаны ядом кураре. Но мне хотелось добраться до таинственного сокровища этого племени.

— И вы добрались?

— Разумеется, добрался!

— И что же?

— Овчинка выделки не стоила: таинственные сокровища состояли попросту из целой коллекции... медных кастрюлей и кувшинов. Я был очень разочарован, и, конечно, поторопился сбежать, предоставляя своим верно- и неверно-подданным позаботиться о моем заместителе...

— А второй раз?

— Второй раз я был торжественно избран королем одного из готтентотских племен в Южной Африке.

— И долго царствовали?

— Несколько месяцев, покуда мне не удалось продать одному работоторговцу всех моих верноподданных за тысячу фунтов стерлингов.

— Простите, мистер Костер, а на чем вы специализировались теперь?

— Ищу подходящее дело, мой юный друг. Покуда ни на чем не остановился еще. Но, может быть, что-нибудь

подвернется. Я — человек деловой, без работы скучаю.

— В Новый Орлеан вы отправляетесь по делу?

— Да. По тому же самому делу, которое привлекает туда вашего почтенного родственника, капитана Джонсона.

— Могу ли узнать, что это за дело, сэр?

— Спросите у Джонсона, молодой человек.

Но капитан Джонсон считал излишним делиться со мной своими секретами, и, таким образом, цель нашего путешествия в Новый Орлеан осталась для меня неведомой вплоть до прибытия в этот город.

В Новом Орлеане «дядя Сам» вел тот же таинственный образ жизни, что и в Филадельфии, то есть постоянно исчезал из дому и пропадал по целым суткам. Иногда я видел его в компании с Костером и с какими-то другими достаточно подозрительной наружности молодцами, по-видимому, все моряками.

Однажды Джонсон привел с собой в гостиницу какого-то небрежно одетого молодого человека.

— Познакомься, Джонни! — сказал он мне. — Это мистер Шольз, инженер.

Шольз рассеянно пожал мне руку.

— Можем приступить к опытам? — осведомился он.

— Сейчас! — ответил Джонсон. — Ведь вам нужен бассейн с водой!

— Какого-нибудь корыта достаточно, — ответил Шольз, державший в руках длинный деревянный ящик.

Весело ухмылявшийся негр, слуга гостиницы, притащил в номер Джонсона глубокое деревянное корыто и наполнил его водой. Тогда Шольз извлек из своего таинственного ящика

какой-то, по-видимому, металлический предмет. Это было веретенообразное тело длиной в три четверти метра, выкрашенное голубовато-зеленой краской. Один конец этого тела был острый, другой несколько срезан. И у срезанного конца имелось поразившее меня приспособление: заключенное в неподвижном ободе подвижное колесо с мелкими, причудливо изогнутыми лопастями, колесо это сидело на оси, выдвинувшейся из веретенообразного тела.

— Это и есть ваш «Гимнот»? — осведомился Джонсон с любопытством.

— Да, — коротко ответил Шольз, старательно заводя при помощи массивного ключа какую-то пружину, помещавшуюся в корпусе «Гимнота».

Затем он осторожно спустил «Гимнота» в воду. Веретенообразное тело почти совершенно погрузилось в воду: наружу торчала только маленькая верхняя площадка и заводной ключ.

В то же мгновение колесо принялось крутиться, разгребая лопастями воду, и «Гимнот», правда, очень медленно, почти незаметно, но все же поплыл по воде, или, вернее сказать, под водою.

Все корыто было длиной около полутора метров, и потому «Гимнот» скоро уткнулся острым носом в противоположный край. Дальше ему идти было некуда. Шольз флегматично вынул его из воды, перевернул, снова опустил в воду, и «Гимнот» пополз обратно до другого конца корыта.

— Занятная штука! — вымолвил наблюдавший эволюции «Гимнота» Костер.

— Очень! — подтвердил Джонсон.

— Не пройдет двадцати пяти лет, — живо отозвался молодой

инженер, — не пройдет, джентльмены, и двадцати лет, может быть, — как всем вашим ста двадцати пушечным фрегатам военного флота вот эта штука положит конец.

— Вы в это верите? — усомнился Джонсон.

— Я это *знаю*! — с сознанием своего достоинства ответил механик. — Обдумайте хорошенько, джентльмены, и вы сами поймете, какой переворот произведет наше изобретение в мировом судостроительстве...

— Вы говорите «наше» изобретение. Разве не вы один являетесь его автором?

— В том виде, в каком оно находится сейчас, — да, автором являюсь я. Но начало положено моим великим учителем, мистером Фултоном, изобретшим первое управляемое паровое судно.

— Я что-то слышал о мистере Фултоне в связи... в связи с экс-императором Наполеоном, — переглянувшись с Костером, заметил Джонсон.

— Вероятно, вы слышали вот что: мой учитель предлагал десять лет тому назад императору французов одно изобретение. Если бы Наполеон не был тогда чем-то ослеплен, если бы он не поддавался непонятному капризу, он не сидел бы теперь пленником англичан на острове святой Елены, — пылко ответил молодой инженер.

— Не увлекаетесь ли вы, молодой человек? — остановил его Костер.

— Я увлекаюсь? — вспыхнул инженер. — Но вы, значит, не знаете сути переговоров Фултона с Наполеоном. Вы, как и миллионы вам подобных, не хотите отрешиться от рутины, от традиций.

— Не так громко, молодой человек! — предостерег его Джонсон.

— Вздор! — почти закричал Шольз. — Мне нечего скрывать! Да и какой это секрет? Весь мир знает это! Или, вернее сказать, весь мир не хочет знать этого! Но истина остается истиной! Когда-нибудь история вынесет свой приговор! Да, впрочем, она уже вынесла его. Ведь, Наполеон — пленник Хадсона Лоу. Ведь его мечты о мировом владычестве навеки разбиты, а Англия торжествует.

— А что было бы, если бы он послушался вас? — любопытно пытался Костер.

— Что было бы? Он был бы владыкой мира, а Англия была бы его рабыней! — пылко ответил Шольз.

— Не можете ли вы рассказать нам подробности дела? — снова переглянувшись с Костером, предложил Джонсон.

— Конечно, могу! — отозвался инженер. — Я ведь ездил во Францию с Фултоном. Я был в военном лагере императора при Булони. Я присутствовал при объяснениях, которые Фултон давал и самому императору и вызванным из Парижа членам Академии. Но эти господа высмеяли Фултона. А император... Император считал его за обманщика и шарлатана. И этим он подписал свой смертный приговор. Да, да! Не переглядывайтесь, джентльмены! Смертный приговор, говорю я! И смертный приговор тому делу, о котором он мечтал всю жизнь! Кто раздавил Наполеона? Россия и Англия! Почему он пошел на Москву? Чтобы принудить императора Александра вновь заключить с ним союз против Англии! И он был прав: единственным серьезным и непримиримым врагом его была именно Англия. Наполеон погиб только оттого,

что оказался бессильным переправить свои войска в Англию и взять Лондон, это сердце образовавшейся против него коалиции.

Что мешало Наполеону перебросить свои войска в Англию? Английский флот, превосходивший флот французский и количественно и боевыми качествами. Этот английский флот, — парусный флот, джентльмены, — был той стеной, о которую Бонапарт разбил свои силы, разбил свою упрямую голову. А мистер Фултон предлагал ему два средства, два могучих орудия для того, чтобы разбить эту стену, разнести ее в прах...

— И эти средства?

— Это средство — пар, джентльмены! Фултон, уже тогда обладавший секретом постройки судов с механическими двигателями, — предлагал императору французам в полгода снабдить весь его флот паровыми двигателями, которые освободили бы суда французам от рабства по отношению к ветрам и течениям. Те же бриги, те же фрегаты, те же барки, но снабженные колесами, вот такими, как мой «Гимнот», — суда, могущие плыть и против ветра, не лавируя, — эти суда были бы непобедимым соперником для судов парусного флота англичан. Армия Наполеона в течение пяти или шести часов с момента отправления из Булони могла быть уже у берегов Англии и высадиться в любом пункте в нескольких часах расстояния от Лондона, джентльмены.

Но эти бараны головы, эти «бессмертные» французской Академии наук, не поняли всего значения величайшего изобретения всех веков и народов!

— А Наполеон?

— А Наполеон, который был занят какими-то другими планами, заявил, что он предпочтет истратить потрeбные на вапориза-

цию флота миллионы на отливку сотни другой пушек для его любимого детища, для артиллерии... В нем сказался артиллерийский поручик Тулона...

— Но вы, мистер Шольз, говорили о *двух* изобретениях, предложенных вами Наполеону. Какое же второе?

— Подводный корабль, джентльмены! Прототип моего «Гимнота»! Железное, или, вернее, стальное судно, снабженное паровым же двигателем для плавания на поверхности. Это судно обладает приспособлениями, позволяющими ему, по желанию, в пять минут, наполнив нижние резервуары водой, погружаться на любую глубину и там скрываться от взоров врага.

— А двигаться под водою оно может?

— Может! Но уже не при помощи паровой машины, понятно, а при помощи применения мускульной силы.

— И какова скорость движения?

— На поверхности — до десяти километров в час! Под водой — три километра!

И опять Костер и Джонсон переглянулись.

Минуту спустя Джонсон задал изобретателю вопрос:

— Скажите, мистер Шольз, как вы думаете, в какую сумму обошлось бы сооружение «Гимнота» такой величины, чтобы на его борту могла поместиться команда в тридцать или сорок человек?

— От трехсот до четырехсот тысяч долларов!

— В какой срок вы могли бы выстроить эту штуку?

— При нормальных условиях — в полтора года. Если заказчик не будет жалеть денег на повышенную плату рабочим и не будет скупиться на материале, — в год, даже в десять месяцев!

— Какова сумма вашего личного вознаграждения?

— Сто тысяч долларов!

— Это окончательно? Уступки не будет?

— Ни единого цента!

Переглянувшись с Костером, Джонсон сказал:

— Я согласен на ваши условия. Можем сейчас же приступить к выработке контракта?

— Да!

Я слушал эти разговоры, и у меня кружилась голова, и я не знал, не во сне ли я вижу фигуры Костера, Джонсона и Шольза, откуда-то появившиеся бумаги и чертежи, пучок английских ассигнаций, перешедший из рук Костера в руки Шольза.

— Джонни! — как сквозь сон услышал я голос Джонсона. — Джонни! Тебе следует пойти прогуляться. Но, разумеется, о том, что ты тут видел и слышал, ты будешь молчать. Понимаешь? Иначе будь я проклят, Джонни, если ты когда-нибудь сделаешься мужем моей племянницы! Понимаешь?

— Будьте спокойны, дядя Сам! — поторопился я успокоить его.

Следуя совету, или, вернее, приказанию Джонсона пойти прогуляться, я покинул гостиницу и направился в славившееся тогда в Новом Орлеане «итальянское кафе» — писать письмо моей милой Минни в Лондон.

**Подводная лодка мистера Шольза и пакет m-elle Бланш.
Двойник Наполеона.**

В Новом Орлеане мы с Джонсоном и Костером загостились: пробыли почти четыре месяца.

Разумеется, никто не поверит, если я скажу, что меня не интересовала история с постройкой подводной лодки Фултона-Шольза. Интересовала не столько сама лодка стоимостью в пару миллионов франков, что по тем временам было чудовищной суммой, сколько загадка: для каких именно целей должна была служить Джонсону и Костеру эта лодка.

Признаюсь, я подозревал, что эти цели едва ли будут добрыми: я думал, что Джонсон вошел в компанию с Костером, и они намерены заняться в грандиозных размерах провозом контрабанды подводными путями.

Идея, надо признаться, была более чем соблазнительной: ведь на одном провозе в Англию итальянского шелку и французских бархатов в те годы можно было зарабатывать буквально миллионы. Россия после войны с Наполеоном повысила таможенные ставки на золотые и серебряные изделия и на все вообще предметы роскоши. Германия страшно нуждалась в дешевом сахаре.

Словом, найдите только возможность незаметно с моря проникать в устья охраняемых таможнями рек, — и вы будете грести золото лопатами.

Признаться, — в контрабанде я особого греха не видел, и даже не имел ничего против того, чтобы принять участие в предприя-

тиях Джонсона и Костера, если бы эти предприятия заключались *только* в контрабанде.

Но участие Костера, признаюсь, жестоко смущало меня. Ведь тот же Костер, не стесняясь, цинично признавался мне, что он «немножко» занимался пиратством; что, если и теперь подводная лодка будет служить для «небольшого» пиратства...

Нет, покорно благодарю.

Другой еще вопрос интересовал меня: откуда шли те деньги, которыми Костер и Джонсон рассчитывали уплатить изобретателю подводной лодки и ее строителям?

Сто тысяч долларов Шользу, триста или четыреста тысяч долларов на постройку лодки, вот уже полмиллиона долларов или четыре миллиона франков. Сумма чудовищно огромная.

Я знал, что у «дяди Сама» водились деньги, — он накопил кое-что своими рискованными, но выгодными операциями с контрабандой. Но это «кое-что», во-первых, представлялось скромной суммой в несколько десятков тысяч фунтов стерлингов, во всяком случае, не свыше трех десятков; а, во-вторых, Джонсон благоразумно передал деньги на хранение «дракону в юбке», миссис Эстер, которая берегла деньги, как зеницу ока.

Словом, если Джонсон и имел деньги, то, во всяком случае, тратить он мог только часть процентов с них. Может быть, тут участвовал Костер?

Но Костер откровенно признавался мне, что за последнее время он «немножко прогорел», попросту говоря, потерял все, что имел, на какой-то неудачной операции с доставкой партии негров бразильским плантаторам.

Откуда же брались эти деньги?

Тайна эта, или, но крайней мере, часть ее, раскрылась для меня совершенно случайно.

Как-то, когда ни Костера ни Джонсона не было дома, вечно гримасничавший негр Юпитер, слуга нашей гостиницы, прибежал ко мне с докладом:

— Масса! — кричал он во все горло. — Приехала миледи с молодым джентльменом. Хотят видеть мистера Джонсона или мистера Костера.

— Скажи им, что ни Костера ни Джонсона нет дома.

— Я им уже говорил. Но они хотят оставить мистеру Джонсону какие-то документы. И когда я сказал им, что вы дома, миледи потребовала, чтобы я позвал вас, масса.

Заинтересованный появлением какой-то леди, я спустился в салон отеля. Там я увидел еще молодую женщину, поразительно красивую, одетую с невероятной роскошью. Рядом с ней сидел молодой человек или, вернее сказать, подросток лет четырнадцати.

При первом взгляде на этого молодого человека я невольно подумал, что где-то и когда-то я уже видел его. Но где и когда?

Я видел это смело очерченное лицо с орлиным носом, этот высокий лоб, эти соколиные глаза и энергичный рот.

— Люсьен! — сказала дама подростку, когда я приближался к ним. — Документы у тебя?

— У меня, мама! — ответил он, глядя на меня.

И опять я не мог отделаться от мысли, что этот голос я уже слышал. Только... только тогда это был голос не юноши, а взрослого человека. Голос слегка хриплый, усталый, но полный повелительных ноток...

— Мне сказали, что вы — племянник мистера Джонсона, — осведомилась приветливо улыбаясь при моем появлении дама, меряя меня с ног до головы взором своих лучистых глаз.

Я в ответ кивнул головой.

— Я думала, что я застану мистера Джонсона здесь, — продолжала она, — но его нет.

— Нет! — коротко подтвердил я.

— И когда он вернется?

— К вечеру.

— Но я не могу ждать до вечера. Что делать, Люсьен?

Странные прозрачные глаза подростка внимательно осмотрели меня с головы до ног и остановились на моем лице. Осмотр, казалось, удовлетворил мальчика.

— Отдай документы этому джентльмену, мама! — решительно сказал он. — Я чувствую, что этому джентльмену мы можем верить.

Порядочный сверток перешел в мои руки. Красавица поднялась, чуть склонила свою голову и пошла. И, клянусь, она шла, как королева.

Подросток задержался на мгновение возле меня.

— Это очень важные документы, — сказал он сухо. — Мы оказываем вам исключительное доверие, мистер...

— Меня зовут Брауном! — ответил я. И в это мгновение я понял, кто стоял передо мной в образе подростка со смуглым красивым лицом; это был... император Наполеон. Но только не тучный и сонный Наполеон дней Ватерлоо, а Наполеон — ученик Бриеннской военной школы.

Такое абсолютное сходство бывает чрезвычайно редко, и

Исключительно между отцом и сыном. Я знал отца. Его образ врезался мне в память по тысячам гравюр, еще больше с того часа, когда туманным утром я, обезоруженный пленный, стоял чуть не по колено в грязи на полях Ватерлоо, пряча за пазухой сорванное с древка полотнище нашего полкового знамени.

— Всего хорошего, джентльмен! — и подросток отошел от меня. И в каждом его жесте, в каждом его движении я узнавал кровь его великого отца.

Когда загадочные посетители отъехали от отеля, я поймал гримасничавшего Юпитера и спросил его, не знает ли он имени миледи.

— О, масса Браун! — всплеснув руками, воскликнул он. — Да разве вы не знаете сами? Ведь, это же мадемуазель Бланш!

— Кто такая? В первый раз слышу!

— Нет, вы только забыли, масса! Вы только забыли!

— Да нет же! Уверяю тебя!

— Это знаменитая дама! Ее все знают в Новом Орлеане! Поэтому что, масса, пятнадцать лет тому назад она была... императрицей Франции, масса.

— Что за вздор? Пятнадцать лет тому назад императрицей Франции была креолка Жозефина Богарне, первая жена императора Наполеона.

— Ну, да, масса! Только с Жозефиной «Бони» повенчался, а с мадемуазель Бланш — нет. Но ее он любил больше, чем Жозефину, потому что Жозефина не подарила ему сына, а Бланш... Да вы, масса, видели того красавца сына, которого она подарила Наполеону? У нас в Новом Орлеане все говорят, что «Бони»

напрасно не узаконил мосье Люсьена. Ведь, мосье Люсьен — вылитый отец.

Словно повязка спала с моих глаз...

О чем думал я, разглядывая подростка?

Ведь, это перед его отцом я стоял в роковой день Ватерлоо! Ведь, это его отец сказал своим маршалам:

— Это мои личные пленники, господа! Поберегите их!

Ведь, это его отец щелкнул меня пухлыми пальцами по лбу и сказал:

— Ты дурак, но ты brave солдат! И подарил мне табакерку с императорской короной и вензелем N.

Меня неудержимо потянуло побежать следом за «мосье Люсьеном», догнать его, сказать ему. Но что сказать?

Сделав два или три шага, я остановился, опомнившись: ведь это было бы глупо...

Я унес в свою комнату сверток таинственных документов, полученных мною для передачи Джонсону, и до возвращения «дяди Сама» и Костера не решался покинуть комнату: ведь сверток был доверен мне на хранение. Я являлся ответственным за его целостность. Значить, я и должен был охранять его, не поддаваясь соблазну пойти погулять по залитым потоками солнечного света улицам Нового Орлеана...

Вечером явились Костер и Джонсон. Я вкратце передал им случившееся. Джонсон забрал сверток и запер его на ключ в своем чемодане, не развертывая.

— Надо будет вызвать Шольза! — сказал Джонсон Костеру.

Тот в ответ утвердительно кивнул головой.

О человеке, который перегнал мистера Роберта Фултона на десять лет.

Мистер Джонсон и Костер внезапно уехали из Нового Орлеана, для каких-то таинственных переговоров с двумя видными членами конгресса штата Луизиана, оставив меня в Новом Орлеане одного. Собственно говоря, — делать мне было нечего, но подобие дела имелось: я должен был непонятным для меня самого образом заменять «Дядю Сама» и Костера в переговорах с принявшимся уже за сооружение подводной лодки мистером Шользом и проверять предъявляемые им счета на закупленные для постройки материалы.

Скажу откровенно, у меня закружилась голова, когда мне пришла в голову мысль пересчитать деньги, оставленные для этой цели в мое распоряжение «дядей Самом»: этих денег у меня было на руках около двухсот тысяч долларов.

Я не из робких, но с того момента, как деньги очутились под моим присмотром, я потерял покой, аппетит и сон: все время мне чудились злоумышленники, подбирающиеся к большому черному чемодану из моржовой кожи, в котором эта колоссальная сумма лежала. Ночью я вскакивал, сжимая ручку пистолета, при малейшем шорохе, при ничтожнейшем скрипе. Днем я не осмеливался отлучаться из комнаты больше, чем на полчаса, и то только в столовую отеля, где я усаживался у двери, лицом к лестнице, ведущей в коридор моего номера. И, сидя таким образом, я мог видеть каждого, кто попытался бы туда проникнуть.

Единственным человеком, который меня в эти дни навещал, был изобретатель Шольз.

Но помню, на третий или на четвертый день после отъезда Джонсона и Костера, Шольз явился ко мне с крайне удивившим меня заявлением.

— Странное дело, мистер Браун! — сказал он, угрюмо улыбаясь и нервно потирая руки. — Странное, очень странное дело!

— В чем суть? — осведомился я.

— Я целыми годами пытался заинтересовать людей своим изобретением. И все было тщетно. Хорошо еще, если меня просто отказывались выслушать, гораздо чаще надо мной смеялись в глаза. Меня объявляли сумасшедшим! А теперь... Теперь, с той поры, как я заключил договор с мистером Джонсоном, я получил уже два новых предложения. Знаете, какие? Три дня тому назад явился какой-то немец, который предложил мне немедленно ехать в Россию, чтобы там заняться постройкой подводного судна за счет русского правительства. А вчера явился другой, предложение которого оказалось еще интереснее: он был готов заплатить мне немедленно пятьдесят тысяч долларов только за то, чтобы я отказался от контракта, заключенного мной с мистером Джонсоном, и обязался в течение десяти лет не продавать никому чертежей моего судна. Кажется, это был француз.

— И что же вы сделали, мистер Шольз, с этими джентльменами? — осведомился я.

— Что я с ними сделал? — удивился Шольз. — Да ничего особенного. Просто-напросто спровадил их!

— Отказались от их предложений?

— Разумеется! Кой черт? Я дал слово мистеру Джонсону, а я

умею держать данное слово. И затем, какая нелегкая понесет меня на край света, в Россию? Кто гарантирует мне, что там мне в самом деле дадут средства предпринять постройку подводного судна, осуществить дело всей моей жизни?

— Это касается первого предложения. А второе?

— Второе еще менее улыбается мне. Вы знаете, что я взял с Джонсона только сто тысяч долларов за изобретение, которое стоит — миллионы. Почему? Да только потому, что это — первый человек, серьезно отнесшийся к моей идее, давший мне средства для осуществления ее. Это для меня дороже миллионов. Нет, я уже принялся за постройку лодки, и я выстрою ее. Я докажу на примере возможность подводного плавания людям, которые издевались надо мной или подозревали во мне шарлатана.

Рассказанное мне Шользом заставило меня несколько встретиться.

В чем дело, я, конечно, не имел ни малейшего представления. Но одно было для меня ясно: дело наше кого-то заинтересовало, кого-то обеспокоило. Кто-то, и, по-видимому, люди могущественные, влиятельные, располагавшие огромными средствами, глядели косо на таинственное предприятие Джонсона и Костера и собирались помешать осуществлению его.

— Слушайте, Шольз! — сказал я моему собеседнику. Убей меня Бог, если я знаю, в чем тут дело, хотя я и собираюсь жениться на племяннице Джонсона, и хотя Джонсон таскает меня с собой в свои путешествия, неведомо зачем! Но я чувствую, что тут начинает пахнуть скверным!

— То есть? — насторожился инженер.

— То есть, вам следовало бы быть поосторожнее. Я предвижу возможность попытки украсть у вас секрет!

В ответ Шольз весело рассмеялся.

— Ну, этого я меньше всего боюсь, — ответил он уверенно. — Я ведь не маленький мальчик, из карманов которого можно вытащить в давке новенький доллар, подаренный ему в день рождения чадолюбивым дедушкой. Украсть у меня могут только такие чертежи, при помощи которых ничего построить нельзя, мистер Браун. Суть моего изобретения — в очень сложных вычислениях, и, раз добившись известных результатов, я уничтожил важнейшие записи на тот случай, чтобы кто-нибудь не воспользовался моим открытием помимо моей воли. Предположите, что кто-нибудь, в самом деле, похитит те чертежи, по которым изготавливаются сейчас известные части моего подводного судна? Что дальше? А вот что. Пусть *он*, то есть вор, строит судно согласно моим чертежам. Это — возможно... Но знаете ли вы, что будет дальше. А вот что... Изготавливая чертежи, я в каждом, — слышите ли вы? — решительно в каждом намеренно сделал одну и ту же ошибку. Я так сказать *подделал* эти чертежи. И только один человек в мире знает, в чем фальшь в каждой части, изготовленной по моим чертежам. И этого человека зовут...

— Его зовут мистером Натаниэлем Шользом, — догадался я.

— Да, его зовут Натом Шользом! — подтвердил мою догадку инженер. — Только я знаю, где и в чем фальшь. Когда все потребные части будут уже изготовлены и надо будет начать сборку машины, — тогда в моем присутствии специальные рабочие переделают все части, просто спилят лишние куски. Эта работа обойдется в пять или десять тысяч долларов. Но зато я спокоен:

если чертежи у меня украдут и по ним выстроят подводную лодку, она не сможет плавать. Она ключом пойдет ко дну... Поняли?

— Понял!

— А кроме того, — продолжал, стиснув зубы, механик, — ведь дело не так просто. Мало выстроить лодку, которая держалась бы на воде и под водой в горизонтальном положении. Важно снабдить ее соответствующим двигателем. Откуда вор добудет этот двигатель?

— Я слышал, что мистер Фултон делал какие-то опыты с машиной для судов на озере Мичиган.

— Совершенно верно! Фултон добился кое-чего. Но только кое-чего, мистер Браун! С его машиной судно такого типа, который вам знаком по модели, — может не плавать, а только ползать. Три, много четыре километра в час по поверхности, полтора километра под водой. С этим далеко не уедешь, нет...

— А вы...

— А я, я ушел на десять лет дальше Фултона. Может быть, совершенно случайно, признаюсь. Но, словом, моя машина в три раза сильнее машины Фултона. А секрет ее конструкции я держу вот где. Пусть попробуют *отсюда* украсть что-нибудь.

И он злорадно засмеялся, тыкнув себя пальцем по лбу.

Заявление Шольза меня несколько успокоило, но одно сомнение, все же, оставалось: я думал, не предпримут ли неведомые враги Джонсона что-либо, чтобы помешать Шользу довести до конца постройку его таинственного подводного судна.

— Ну, этого-то я не опасаюсь! — самоуверенно ответил Шольз. — Я ведь принял соответствующие меры предосторожности: в моих мастерских работают только испытанные люди, да и

те находятся под самым бдительным присмотром. Нет, нет. Работа уже кипит, и вы увидите, что моя подводная лодка будет готова гораздо раньше условленного срока. Ведь вы, вероятно, знаете, что за каждый месяц экономии во времени я получаю от Джонсона лишних десять тысяч. Чертовски богат, должно быть, этот Джонсон.

На этом наш разговор закончился. А на другой день...

На другой день разыгралось то, чего ни я ни сам Шольз не могли и предвидеть. И то, что случилось, опрокинуло вверх дном все наши планы...

VII

Мистер Джон Браун начинает подозревать, что он впутался в дело, за которое можно поплатиться жизнью.

На другой день после вышеприведенного разговора в той гостинице, где мы с Джонсоном и Костером остановились по прибытии в Новый Орлеан, появился целый караван трапперов, привезших тюки с мехами с верховьев Миссисипи. Все это были загорелые и мускулистые молодцы, одетые в крайне разнообразные охотничьи костюмы. И все они были невероятно крикливы и вульгарны, и горланили без отдыха по целым часам.

По-видимому, немедленно по приезду, они получили солидные деньги, и потому сейчас же принялись кутить.

Отвоевав себе половину общей столовой, они расположились там, как у себя в лагере. Столы ломились под тяжестью яств и питья. Вина лились рекой.

Но было что-то в поведении трапперов, что мне не понрави-

лось с первого взгляда. Может быть, в этом сказывалась моя личная нервность, вызывавшаяся опасениями за участь порученных моей охране денег, — но мне трудно было отделаться от впечатления, будто трапперы чересчур внимательно посматривают на меня.

Некоторые из них пытались затянуть меня в свою компанию, радушно угощая меня, но я, разумеется, отклонил их угощение.

Сейчас же после обеда ко мне пришел Шольз, я должен был уплатить ему несколько тысяч долларов и взять с него расписки.

Покончив с ним это дело, я вышел проводить его.

— Посидим здесь, в столовой! — предложил мне инженер. Я сегодня здорово поработал с рассвета, и не прочь дать себе хоть маленькую передышку.

Какое-то темное предчувствие толкало меня отклонить это предложение, но я не мог привести ни единого мотива, и поэтому предпочел промолчать.

Как всегда, мы с ним заняли место за отдельным столиком у двери, так что я мог видеть дверь своей комнаты, где хранился чемодан с деньгами Джонсона.

Едва мы расположились там, и негры принесли пару бутылок с освежающими напитками, как в том углу, который был отвоєван трапперами, поднялся дьявольский шум. Один из трапперов, человек чуть ли ни саженого роста, охмелев, начал кричать во все горло и стучать кулаками по столу. Его товарищи тщетно уговаривали его вести себя тише.

— С какой стати?! — кричал он, размахивая руками, словно мельничными крыльями. — Разве Тони Бауцер — краснокожий пес, который не умеет себя держать в порядочном доме? Ого!

Пускай кто-нибудь осмелится сказать мне это прямо в лицо, и я загляну в его печенку кончиком моего ножа. Разве я не плачу чистыми мексиканскими долларами за все съеденное и выпитое? Уйдите вы все к черту! Я хочу гулять!

Еще пять минут спустя он чуть не подрался с каким-то товарищем. Остальные трапперы с трудом отняли у него огромный нож и пару пистолетов.

Потом шум утих, Тони Бауцер как будто успокоился, и, дав клятву не скандалить, потребовал, чтобы оружие было ему возвращено.

Занятый своими мыслями, я довольно невнимательно наблюдал всю эту сцену, отнюдь не подозревая, что она может иметь какое-либо отношение к нам с Шользом.

Траппер, пожилой человек с лисьей физиономией, который отобрал у Тони Бауцера оружие, громко осведомился у товарищей:

— А что, ребята, отдавать ли этому мустангу его нож и пистолеты?

— Почему нет? Конечно, отдай! Он уже не пьян.

— А вдруг он, пьяный крокодил, вздумает тут палить? Мы, ведь, не в пампасах? Краснокожими здесь не пахнет!

— Отдавай смело! Тони не такой глупец, каким ты его себе представляешь!

— Ну, разве что так! Ладно, Тони, бери свои пистолеты!

И старик протянул молодому трапперу его оружие через стол. Тот схватил оба пистолета, и... и направил их в голову старику. Старик с поразительной быстротой юркнул под стол. Грянуло два выстрела. Что-то ударило меня, словно палкой, по голове. Я



Грянуло два выстрела. Что-то ударило меня, словно палкой, по голове.

вскочил, схватился за голову. Мне показалось, что потолок обрушился на меня, пол провалился под моими ногами, а стены завертелись в бешеной пляске.

Это продолжалось, надо полагать, всего несколько мгновений, откуда сознание не покинуло меня. Но этих нескольких мгновений для меня было достаточно, чтобы увидеть нечто непонятное и ужасное.

Я увидел, — правда, как сквозь туман, — что на лбу сидевшего рядом со мною Шольза показалось круглое пятно, потом из этого пятна выполз красный червяк, и, извиваясь, принялся спускаться к правому глазу Шольза.

Потом Шольз, в это мгновение подносивший к губам стакан с содовой водой, выронил этот стакан и уткнулся лицом в доску стола.

Пришел я в сознание — и удивился: комната, в которой я лежал, была заполнена народом. У меня нестерпимо болела голова, и глазам было больно смотреть на свет. И при этом я чувствовал такую страшную слабость, что мне казалось, будто кто налил в мое тело несколько литров жидкого свинца...

— Что со мной? Чего вы от меня хотите? — с трудом ворочая языком, спросил я человека, который с бритвой в руках возился над моей головой.

— Что с вами? — улыбнулся он. — Вы чуть не отправились на тот свет. Чего я от вас хочу? Только того, чтобы вы лежали смирно, не шевелясь. Иначе я не могу обрить нашу дубовую голову.

— Обрить голову? — удивился я. — Это зачем?

— Для того, чтобы можно было промыть и перевязать рану!

— Я ранен? — еще больше удивился я.

— Да, ранены! — серьезно ответил возившийся со мной хирург.

— Опасно?

— Нет! Пустяки! Пуля скользнула по черепу, почти не повредив кости. Но рана болезненная... Дней пять-шесть вам придется отлеживаться. А пройди пуля на палец ниже — мне вместо оказания вам помощи пришлось бы сейчас писать свидетельство о вашей скоростипижной смерти....

— Кто же меня ранил? — осведомился я уже несколько живее.

— Неизвестный, которого сейчас разыскивает полиция.

— Траппер Тони Бауцер! — вскрикнул я, сразу вспомнив все происшедшее.

— Кажется, в самом деле, так зовут этого человека, — пожав плечами, ответил хирург, откладывая к сторону бритву и принимаясь поливать мою голову холодной водой из кувшина. — Во всяком случае, — к вам он был милостив. Ваш товарищ не был так счастлив...

— Инженер Шольз?

— Не знаю, инженер ли он... Если инженер, то, во всяком случае, никаких машин ему больше не придется строить, бедняге....

— Он... он убит? — не веря своим ушам, спросил я.

— Наповал! — ответил доктор. — Пулей из дальнобойного пистолета на таком близком расстоянии — прямо в лоб. Вышла в затылок, разрушив, конечно, почти весь мозг...

— О, Господи! — простонал я. — Какое несчастье!

— Несчастье! — угрюмо улыбнулся хирург. — Я думаю, что это не совсем «несчастье». По-моему, это преступление.

Я припомнил все, о чем мы так недавно беседовали со злополучным изобретателем подводной лодки, и вынужден был согласиться, что смерть Шольза была отнюдь не случайной...

Люди, которые не хотели, чтобы Шольз выстроил для Джонсона подводную лодку, не могли придумать лучшего средства, как устранить изобретателя. За смертью Шольза уже некому было строить подводное судно... Таинственные планы Джонсона и Костера были разрушены вмешательством каких-то темных сил.

Подумав об этом, я сейчас же вспомнил о деньгах, доверенных моему попечению.

Лицо хирурга мне нравилось: это было лицо честного человека, и притом лицо солдата. И это лицо казалось мне знакомым.

— Как вас зовут, доктор? — осведомился я.

— Мое имя — Томас Мак-Кенна! — ответил он. — Вы, очевидно, познакомившись со мной мельком, позабыли меня. Но я помню вас: вы племянник Самуила Джонсона!

— Да, я позабыл ваше лицо, но... Но я хорошо знаю ваше имя.

— Очень может быть! — пожав плечами, ответил он. — Иногда английские газеты удостаивали меня своим вниманием...

— Вы были личным врачом адмирала Нельсона?

— Имел эту честь.

— Доктор! Могу ли я довериться вам?

— Если ваше дело честное, то можете, — резко вымолвил он. — Я в жизни еще ни разу никого не обманул. В чем дело?

Я попросил удалиться остальных присутствовавших в комнате, и, когда они вышли, я сказал доктору Мак-Кенна о знаменитом чемодане из моржовой кожи, в недрах которого находились деньги Джонсона.

— Это чужие деньги, доктор, — сказал я. — Мне они доверены на хранение. Владельцы их в отсутствии. Я ранен и беспомощен, как младенец. Я больше не в состоянии охранять доверенное мне сокровище...

— Хорошо! — грубым тоном ответил врач. — Вы — англичанин, я — англичанин. Мы дети одной земли... Я сейчас не занят, и могу пожертвовать вам несколько дней. С этого момента я поселяюсь здесь. Разговор кончен. Выпейте вот это питье. Это — снотворное. Сон укрепит ваши силы и смягчит вашу боль от этой

нелепой раны. Спите спокойно: я буду охранять и ваш покой и ваши деньги...

И, в самом деле, я заснул спокойным сном.

На другой день, убедившись, что заживление раны на голове идет нормальным порядком, не грозя осложнениями, Мак-Кенна сообщил мне новость, которая при других условиях взволновала бы меня: ночью какие-то неизвестные взорвали на воздух тот маленький завод, на котором несчастный Шольз строил свое подводное судно. За взрывом последовал пожар, уничтоживший то, что уцелело от взрыва.

Среди развалин завода валялись изуродованные покоробившиеся железные листы и согнувшиеся в спираль стальные тимберсы лодки... В огне погибли и все чертежи Шольза.

Теперь мне было ясно, что смерть Шольза отнюдь не была роковой случайностью: Шольз был убит теми самыми людьми, которые не желали допустить, чтобы его детище, — подводное судно, — когда-нибудь увидело свет...

Через неделю в Новый Орлеан вернулись из поездки Джонсон и Костер. Узнав о случившемся, Джонсон свирепо выругался, а Костер засмеялся.

— Сколько потеряно? — осведомился Костер.

— Не так много: я выплатил Шользу, согласно условию, авансом всего десять тысяч долларов, да по его счетам около тридцати тысяч. Другие расходы — десять тысяч. И того пятьдесят... В деньгах недостатка нет.

— Да, но Шольз мертв, его изобретением воспользоваться мы не можем...

— Ну, что же?! Надо придумать что-нибудь другое.

— Прежде всего, надо заставить наших противников потерять нас из виду.

— Это довольно легко: уйдем в море на несколько недель.

— Да, уйдем в море.

И, в самом деле, через несколько дней, как только я кое-как в силах был двигаться, Джонсон и Костер перетащили меня на палубу «Ласточки». Там я увидел и моего врача, доктора Мак-Кенна. Хирург чувствовал себя на борту «Ласточки», как дома.

— Я свободный человек, сказал он мне. — Я могу пожертвовать несколькими месяцами жизни. Кстати, мне давно хотелось посетить Австралию...

— Разве люгер идет в Австралию? — удивился я.

— А разве мистер Джонсон вам этого не сказал? — несколько удивился хирург. — Да, да. Мы идем в Австралию...

VIII

Знатные знакомства на островах Зеленого Мыса.

Летом 1818 года я находился в Лондоне: наш люгер «Ласточка», отправившись из гавани Нью-Йорка в Австралию, на самом деле принял другое направление: мы дошли до мыса Доброй Надежды, простояли две недели в Кейптауне, запаслись свежей водой и сухарями, а затем пошли вдоль африканских берегов, по мало посещавшимся тогда европейцами водам. Таким образом, мы прошли много тысяч морских миль, пережили немало бурь, видели немало опасностей. Если бы я стал описывать все то, что я тогда видел, — мне пришлось бы написать несколько огромных томов. Но я отнюдь не желаю делаться конкурентом ни капитана

Мариетта, ни высокочтимого мистера Фенимора Купера, романами которого я на старости лет зачитываюсь, как и ты, Джимми.

Суть в том, что я преследую другие цели, — и именно поэтому чувствую себя обязанным держаться ближе к основной теме моего повествования, не вдаваясь в подробности, которые не имеют тесной связи с главным.

Поэтому, оставляя в стороне подробности, я и отмечаю только то, что стоит в непосредственной связи с основным элементом.

Все время, покуда мы странствовали по морям и океанам, между Джонсоном, доктором Мак-Кенна и Костером шли какие-то таинственные совещания, во время которых эти люди запирались в маленькой каюте нашего суденышка. Мне приходилось иногда заглядывать в эту каюту после окончания совещания, и тогда я видел, что стол завален разнообразнейшими картами и какими-то рукописями.

Несколько раз я спрашивал Джонсона, в чем дело, чего мы ищем в этих морях. Но Джонсон отвечал, что еще не настал час, когда он может раскрыть карты.

— Потерпи еще, мальчуган! — говорил он мне с грубой лаской. — И, пожалуйста, не терзай себя сомнениями. Твой отец знает, о чем идет речь, — и хотя он сам уклонился от участия по каким-то своим соображениям, в которых известную роль играют передние зубы, — тем не менее, против твоего участия в деле он не имеет ровным счетом ничего. А ты знаешь, как твой отец щепетилен в вопросах чести... Значит, ты можешь совершенно безбоязненно путаться с нами.

— Терпеть не могу играть в жмурки! — ответил я.
— Предпочел бы не терять даром столько времени.

— Знаю, знаю! — засмеялся Джонсон. — Тебе не терпится поскорее жениться на Минни Грант. Одобряю твой выбор: моя племянница — славная, работающая девочка. У тебя будет прекрасная жена. Но, парень, такую жену надо заслужить. Вот, я и хочу, чтобы ты, помогая нам с Костером, заработал себе право назвать Минни своей женой.

— Но что же я должен делать для этого?

— Ничего особенного. Только быть с нами, быть у нас под рукой. Для нас с Костером чрезвычайно важно, чтобы у нас под рукой был человек, которому мы доверяем вполне. Ты, мальчуган, именно такой человек...

— Покорно благодарю за комплимент, — проворчал я.

— Не стоит благодарности! — продолжал Джонсон. — Кроме того, для нашего дела нужен человек с крепкими кулаками. А у тебя кулаки, слава Богу, как два кузнечных молота.

— И крепкий череп! — невольно засмеялся я.

— Да, и крепкий череп! — подтвердил Джонсон. — Не будь он так крепок, твой чердак, пуля этого наемного убийцы, мнимого траппера, отправила бы тебя на тот свет...

— Но все-таки, я хотел бы, чтобы эта игра в жмурки поскорее кончилась.

— Имей терпение. Кончится скоро! — успокаивал меня Джонсон. — Ты являешься нашим компаньоном по данному предприятию. Мы с Костером порешили, что ты получишь свой пай.

— Сколько это даст?

— Сейчас еще мы и сами не знаем. Во всяком случае, у моей племянницы Минни будет муж, у которого в банке будет лежать

порядочный запасец про черный день. У Минни будет всегда кусок хлеба, да еще с маслом... Только потерпи.

И я терпел, хотя, признаться, терпение мое истощалось.

Итак, мы от Кейптауна поплыли на север. Не знаю, зачем именно мы заходили на острова Зеленого Мыса и простояли там чуть не месяц. Местным властям Джонсон объяснил нашу стоянку тем обстоятельством, что будто бы кузов «Ласточки» оброс ракушками, пазы нуждались в конопатке, снасти — в ремонте. Но это было только предлогом. Я лучше, чем кто-либо, знал, что все потребные работы могли быть исполнены в какие-нибудь полторы недели. А мы стояли и стояли...

Для меня было ясно одно: Джонсон здесь, на островах Зеленого Мыса, поджидал кого-то.

И, в самом деле, дождался.

В начале четвертой недели в гавань, в которой мы стояли, расснастившись, вошел на всех парах тяжелый и неповоротливый, неимоверно грязный бриг под неаполитанским флагом. На корме этого судна я разглядел надпись золотыми буквами: «Из Кастэлламаре». «Сан-Дженнаро».

— Это они! — сказал Костеру стоявший у борта Джонсон.

— Посмотрим, они ли! — отозвался Костер.

Едва бриг бросил якорь, став на рейде рядом с «Ласточкой», как Джонсон велел спустить гичку.

— Ты поедешь с нами, Джонни! — сказал он мне.

Гичка довезла нас до берега. Побродив по грязным и пыльным улицам поселка Сан-Винсент, побывав на рынке, где гортанными голосами перекликались негры и разгуливали португальцы, мы втроем зашли в таверну «Христофор Колумб», этот излюбленный

приют моряков всех наций, попадающих на остров Сан-Винсент. Едва мы успели расположиться там, заняв прохладный тенистый уголок, как в таверну ввалилась с шумом и гамом целая партия моряков-итальянцев, чуть ли не половина экипажа с только что пришедшего неаполитанского судна.

Матросы эти заняли стол рядом с нашим. Хозяин таверны застутился. Слуги притащили корзину дешевого кисловатого вина и массу фруктов. Неаполитанцы этим не удовлетворились: они желали, чтобы для них было приготовлено их любимое национальное кушанье — макароны в соку из помидоров. С криком, шумом, песнями и прибаутками они сами принялись за варку макарон. Едва ли не главную роль в этом деле играл стройный черноглазый молодец с открытым лицом, человек лет тридцати, не больше.

— Синьоры, макароны готовы! — возгласил он через полчаса, торжественно внося в зал огромное блюдо с любимым итальянским кушаньем. Затем, обратившись к нам, он на ломаном английском языке предложил и нам принять участие в их общей трапезе.

Против моего ожидания, Джонсон, который всегда сторонился незнакомых людей, особенно иностранцев, не заставил себя долго упрашивать, и ответил согласием, но на одном неременном условии.

— Ваши макароны, наше вино, — сказал он.

— Каким вином вы нас угостите, синьоры? — осведомился неаполитанец.

— Лакрима Кристи, — ответил Джонсон.

— Какого года? — Заинтересовался итальянец.

— О, это хорошее старое вино! Мне подарил его один ваш славный соотечественник.

— В котором году это было?

— В 1795 году.

— Где?

— На острове Капри.

— Как его звали?

— Князь Ловатти.

— Если это вино виноградников Ловатти с острова Капри, то, разумеется, мы, как неаполитанцы, примем его с большой радостью.

Слушая этот разговор, я, как говорится, хлопал глазами: столько времени путался я уже с Джонсоном, а до сих пор ни разу не слышал от него, что в трюмах «Ласточки» имелся запас старого и дорогого вина из княжеских погребов...

— Если синьоры согласны подождать, то мой племянник сейчас съездит на корабль и привезет оттуда пару бутылок, — предложил Джонсон.

— Великолепная идея! Но мы предпочли бы не затруднять вашего племянника.

— Тогда сделаем вот как: поедemте все вместе и выберем лучшее из моего запаса.

— Отлично!

Костер, Джонсон, я, потом тот неаполитанец, который приглашал нас, и еще двое его товарищей, оставив прочих в таверне расправляться с макаронами, вышли на улицу.

Нашей гички не было: она уже вернулась к «Ласточке». Джонсон за пару мелких серебряных монет взял на

час лодку, принадлежавшую какому-то пьянице-негру.

— Берись за весла, Джонни, — распорядился он. — Кто-нибудь из молодых людей поможет тебе.

И, в самом деле, один из итальянцев тоже схватился за весла. Лодка медленно поплыла, направляясь к «Ласточке».

Когда мы отошли на некоторое расстояние от берега, Джонсон спросил итальянца:

— Какова погода, синьор?

— Покуда — тихо и спокойно. Но, кажется, быть буре.

— Вы думаете? Откуда начнется?

— Мои друзья уверяли меня, что первые признаки бури замечены в Милане. Кажется, ветер оттуда потянет через Альпы.

— На Францию? Но, ведь, капитан еще болен?

— Один знаменитый доктор изобрел новое средство для его излечения.

— А его матросы?

— Ждут не дождутся его возвращения.

— Это хорошо! Но нет ли опасности со стороны плавучих льдов с крайнего севера?

— Остается пока под сомнением. Но мои друзья надеются, что на севере скоро наступит весна. Льды тают...

Пока шел этот разговор, наша лодка доплыла до борта «Ласточки». Джонсон и неаполитанец по веревочному трапу поднялись на палубу. Костер последовал за ними. Я остался в лодке. Должно быть, «Лакрима Кристи» было запрятано где-нибудь очень далеко, по крайней мере, прошло не менее часа, покуда отправившиеся отыскивать его люди снова показались на палубе и по тому же трапу спустились в лодку. Каждый из них,

действительно, нес с собой по две бутылки. Что было в этих запylенных бутылках — я не знаю. Но сдается мне, что это, во всяком случае, было не вино.

— Гребите к берегу! — распорядился Джонсон, усаживаясь рядом с неаполитанцем и принимаясь говорить с ним на языке, которого я не понимал. Понятными для меня были лишь некоторые отдельные слова, по созвучию с несколько знакомым мне латинским языком.

Что меня поразило при этом, — это повелительный тон, которым говорил с Джонсоном неаполитанец. Словно Джонсон был рядовым солдатом, а тот — генералом, чуть не маршалом.

Мне казалось, что я ослышался, но нет: Джонсон два или три раза назвал неаполитанца «ваша светлость» и «герцог».

Упоминалось имя принцессы Паолины, имя его святейшества папы римского и его величества короля Обеих Сицилий.

Опять, значит, я попал в знатную компанию, как там, в Новом Орлеане....

Признаюсь, особого удовольствия я не испытывал: ведь, в связи со знакомством с таинственной «мадемуазель Бланш» и ее сыном Люсьеном, так поразительно напоминавшим Наполеона, — у меня на темени вскочила здоровенная шишка. Как бы за знакомство с этим умеющим стряпать герцогом не получить еще пару синяков...

IX

Как «Сан-Дженнаро» ушел ночью, не попрощавшись с «Ласточкой», и как «Ласточка» пошла его догонять. Корабль на юге, корабль на севере.

Участия в пирушке неаполитанцев мне принять не пришлось: по каким-то соображениям Джонсон распорядился, чтобы я, пока шла пирушка, разгуливал по улице перед таверной и наблюдал, не появится ли человек с черной повязкой на глазу. Буде такой субъект покажется вблизи таверны, я должен был немедленно дать знать об этом при помощи свистка.

Должно быть, часа полтора пришлось мне слоняться у дверей таверны. Человека с черной повязкой я так и не увидел...

Затем пирушка кончилась. Джонсон и Костер ушли первыми, и, взяв наемную лодку, отправились на борт «Ласточки». Я, понятно, сопровождал их. Итальянцы долго еще слонялись по берегу, накупали всякую дрянь у торговцев-негров и катались верхом на длинноухих осликах, поднимая клубы пыли.

Но мне недолго пришлось наблюдать за их беззаботным гуляньем: словно демон овладел Джонсоном — у нас на «Ласточке» закипела лихорадочная работа. С берега была пригнана целая партия портовых рабочих, по большей части негров, поминутно причаливали «сандалы», — тупорылые черные лодки, подвозившие для наших камбузов припасы и бочонки со свежей водой. «Ласточка» спешно готовилась к отплытию.

Работа не прерывалась ни днем ни ночью в течение суток. И, признаюсь, принимая участие в этой работе, я не имел ни време-

ни, ни охоты особенно внимательно наблюдать за итальянским судном.

А трое суток спустя, утром, когда я вышел на палубу, мне пришлось протирать глаза; неаполитанский бриг исчез. Там, где он стоял еще вчера вечером, сейчас колыхалась на волнах полупалубная арабская феллука.

Я счел долгом сообщить Джонсону о том, что бриг ушел. Тот на мое сообщение ответил довольно грубо:

— Знаю! Ушел! Ну, и отлично! И мы сами уйдем сегодня вечером...

И, в самом деле, в тот же вечер и наше суденышко, покинув гавань Сан-Винсента, вышло в открытое море, сначала пошло прямо на запад, словно собираясь перемахнуть через Атлантический океан к берегам Америки, потом свернуло круто на север.

Странная работа была произведена на моих глазах: под надзором Костера из трюма вытащили сверток черного полотна, и судовой плотник прибил это полотно гвоздями к корме, по краю кузова. Под полотном совершенно скрылась кормовая надпись с именем «Ласточка» и появилась совершенно иная, неизвестными мне буквами. Часть этих букв имела характер латинской азбуки, но некоторые буквы казались мне греческими.

— Что это за надпись? — осведомился я у наблюдавшего за этой работой Костера.

— Как? — деланно удивился тот. — Неужели ты не узнаешь русского языка? Ведь это же по-русски?

— По-русски! — не удержался я от недоуменного восклицания.

— Ну, да! — посмеиваясь, подтвердил Костер. — Ведь мы

плаваем под русским флагом. Наше судно называется «Работник». Оно приписано к Петербургскому порту. Мы идем с казенным грузом на Аляску, чтобы оттуда забрать меховые товары Российско-Американской Компании...

— Опять игра в жмурки! — проворчал я сердито. — Слушайте, Костер! Ведь добром это все не кончится!

— Ну, вот еще! — засмеялся Костер. — Кто это вам сказал, мой юный друг?

— Мне это говорит мой здравый смысл.

— Ба! На собственный здравый смысл целиком полагаться не рекомендуется, юноша!

— Слушайте! А если наш маскарад будет кем-нибудь обнаружен?

— Какой маскарад? — притворился янки.

— Ну, то обстоятельство, что вы перекрестили наше судно, не изменив его наружности.

— Глупости! Его наружность сейчас тоже радикально изменится. Самый опытный моряк не узнает «Ласточку». Наши бумаги в полном порядке.

В самом деле, на моих глазах люгер со сказочной быстротой изменил свою наружность. На кормовой мачте были подвешены реи, которых раньше не было, передняя мачта, получила надставку. На носу выросли высокие борта, а на корме появилась целая надстройка с дверями и окнами. Я глядел — и своим глазам не верил. И чем больше я глядел, тем меньше все это мне нравилось: ведь такой маскарад предвещал, что «Ласточка» собирается опять броситься на поиски приключений и, надо полагать, приключений достаточно рискованных.

Я смерти не боюсь. Но если умирать, то надо, по крайней мере, знать, за что и во имя чего отправляешься на тот свет.

Потом мне, признаться, стала надоедать вся эта история. Джонсон, — пусть даже с согласия моего отца, — таскает меня из одного конца света в другой на своем люгере, втягивает меня в странные предприятия, в которых принимают участие трапперы, оказывающиеся наемными убийцами, фаворитка Наполеона и его сын, американский пират, он же неготорговец, неаполитанский герцог, стряпающий не то макароны, не то политические заговоры...

Нет, джентльмены! Если вы хотите, чтобы я участвовал с вами в игре, и, по-видимому, в игре очень крупной, я хочу знать, не крапленными ли картами вы играете.

Злополучный изобретатель подводной лодки, Шольз, за участие в этой игре в темную уже поплатился, получив пулю в лоб. Я отделался дешево, желваком и рубцом. Моя шевелюра, снятая с головы бритвой доктора Мак-Кенна, положим, так быстро отросла, что я уже мог прикрывать волосами образовавшуюся от раны продолговатую плешь. Особых претензий по этому поводу я не предъявляю. Но джентльмены, мне, говоря откровенно, уже надоело то обстоятельство, что вы поступаете со мной, как с мальчишкой, не говоря мне, что за цели вы преследуете...

Рассуждая так, я пришел к решению при первом же удобном случае начисто объясниться с дядей Самом и добиться от него определенного ответа. Если он, Джонсон, откажется удовлетворить мое законное любопытство, — к черту. Я бросаю его и его проклятый люгер, шныряющий по морям и занимающийся странными, чтобы не сказать более, операциями.

Минни Грант не станет моей женой? — Черта с два!

Минни через несколько месяцев будет 21 год. Как только она достигнет совершеннолетия, власть ее опекуна над ней, то есть, того же мистера Джонсона, прекращается. Раз Минни любит меня, никто в мире не имеет права запретить ей стать моей законной женой.

Джонсон не даст обещанного приданого Минни? — К черту! Мне дорога сама Минни, милая девушка, а не ее тряпки и не та пара сотен фунтов стерлингов, которыми может ее снабдить Джонсон.

Кусок хлеба, я так или иначе заработаю: я здоров, силен. Я честный парень. У меня имеется военная медаль, данная мне за храбрость. Наконец, меня знает сам «Железный герцог» Веллингтон.

Лишь бы добраться до Лондона: там я сейчас же разыщу нескольких уцелевших от битвы при Ватерлоо офицеров славного одиннадцатого стрелкового полка. Разыщу боевых товарищей моего отца. Неужели они не помогут устроиться солдату, имя которого связано навеки с историей нашего полкового знамени?!

В крайнем случае, повенчавшись с Минни, завербуюсь инструктором в полки сипаев и увезу Минни в Индию. Там никогда нет недостатка в вакантных местах для человека, который имеет священное право называть себя «солдатом любимого полка Веллингтона».

И, наконец, мой отец... Разве я не имею возможности рассчитывать на помощь отца хотя бы на первых порах?

Правда, пенсия моего отца — нищенская, грошовая пенсия.

Но, все же, он может содержать меня хоть месяц, пока я не найду себе какого-либо подходящего занятия.

А то, может быть, нам с Минни переселиться в Канаду? Возьму у тамошнего правительства участок земли, сделаюсь фермером...

Так думал я в те часы, покуда «Ласточка» преображалась в «Работника».

Задумавшись, я не обратил внимания на то обстоятельство, что мы снова изменили курс и с севера понеслись на юг. К ночи мы прошли мимо острова Сан-Винсента, оставаясь на расстоянии не менее трех морских миль от него. К утру следующего дня мы были так далеко от этого острова, что его силуэт уже потонул в лоне океана.

Весь этот день вахтенные матросы с высоты грот-мачты внимательно осматривали весь горизонт, явно ища какое-то судно на морском просторе, а Костер с большой морской подзорной трубой почти не покидал палубы.

— Не понимаю, что думает Караччьоло! — бормотал он. — Ведь, условились же, что встретимся именно здесь, и отсюда будем вместе продолжать путь!

— Пройдем еще немного на юг, может быть, их отогнало с курса ветром.

— Парус на юге! — раздался в это время крик вахтенного матроса с верхушки мачты.

— Это *они*! — сказал Костер.

— Вероятно! — ответил Джонсон, в свою очередь, оглядывая чуть туманный горизонт при помощи своего телескопа.

— Корабль с севера! — послышался вновь крик дозорного.

Костер живо обернулся.

— Это кого еще черт несет?! — проворчал он с явным неудовольствием.

— Чего вы волнуетесь? — изумился Джонсон. — Просто-напросто, случайно забредшее сюда какое-нибудь португальское судно.

— А вдруг не португальское, а...

— Незаметно подошедший к разговаривавшим доктор Мак-Кенна долго и внимательно смотрел на быстро приближавшееся к нам с севера таинственное судно.

— Это — военный фрегат! — сказал он после некоторого раздумья.

— Какой национальности? — осведомился тревожно Джонсон.

— Флага покуда не видно. Трудно судить по оснастке. Но, если я не ошибаюсь, это судно итальянское.

— Bravo! — вмешался я в разговор. — Может быть, старший братец «Сан-Дженнаро»...

Джонсон сердито поглядел на меня.

Костер вынул сигару изо рта, и насмешливо улыбнулся.

— Знаете, милый Джонни, — обратился он ко мне самым ласковым тоном, — знаете, существует такая болезнь: на языке у больного появляется зловещего вида опухоль. Эта болезнь в просторечье называется...

— Типуном, — догадался я. — Так в чем же дело? При чем тут эта куриная болезнь?

— Я очень желал бы, милый Джонни, чтобы именно у вас на языке вырос типун.

— Вот тебе раз! Это за что же?! — вспыхнул я.

— За проявленную вами по поводу появления итальянского судна неумеренную радость...

— Н-да, — пробормотал, нервно теребя свою седеющую бородку, Мак-Кенна. — Появление итальянского, именно итальянского судна в таком месте ничего хорошего для наших друзей на «Сан-Дженнаро» не означает.

— Да и для нас самих тоже! — откликнулся сердито Джонсон.

X

Три корабля в море. Сигнал: «У нас чума». «Одноглазый» и его история. Как умер маршал Ней.

Три судна мчались по морскому простору приблизительно по одному и тому же направлению. Впереди шел черный бриг, в котором теперь мы и без помощи подзорных труб узнавали нашего старого знакомого «Сан-Дженнаро». В середине на всех парусах — «Ласточка», или, правильнее сказать, «Работник», и сзади — неизвестное судно, поднявшее при приближении к нам пестрый неаполитанский флаг.

— Восьмидесяти или даже стопушечный фрегат, — сказал наблюдавший за эволюциями этого судна Костер.

— Будь он трижды проклят, этот неаполитанский оборвыш! — откликнулся ворчливо Джонсон.

У всех трех судов ход был различный: «Сан-Дженнаро», вообще тяжеловатый на ходу, развернул все паруса, какие могли нести его кургузые мачты, но едва ли и при этой непомерной и

явно ставившей его в опасность парусности он делал более семи узлов в час.

Наш люгер, легкий, как перышко, но лишенный возможности по своей оснастке ставить большое количество парусов и пользоваться верхними слоями ветра, шел несколько быстрее, чем «Сан-Дженнаро», давая, пожалуй, до восьми узлов.

Но еще быстрее шел, или, вернее сказать, мчался, развернув чудовищную парусность, неаполитанский фрегат: думаю, что едва ли ошибусь, определив его скорость в добрых десять узлов.

— Будь я проклят, — проворчал Джонсон, глядя на быстро нагонявшего нас неаполитанца, — если эта скотина не соберется протаранить нам бок.

— Не думаю! — ответил Костер. — Едва ли на нас обращено его внимание. Он думает, что он гонится за более крупной дичью...

— Дела наших друзей плохи! — озабоченно заметил Мак-Кенна.

— Им не уйти ни в каком случае.

— А чем, собственно говоря, они рискуют? — осведомился я. Вместо ответа Мак-Кенна пожал плечами.

После минутного молчания он глухо вымолвил:

— Другие, может быть, отделались бы дешево — годом или двумя годами тюрьмы. Герцогу Сальвиатти и князю Караччоло грозит, если не смертная казнь, то, во всяком случае, пожизненная каторга...

— Даже если они сдадутся? — спросил Костер.

— Даже если они сдадутся! — подтвердил Мак-Кенна. — Но боюсь, что они не сдадутся... Это не такие люди. Отца Караччоло

ло повесили с согласия Нельсона, который потом до смерти не мог простить себе этого. Отца Сальвиатти неаполитанская чернь, подстрекаемая агентами Бурбонов, растерзала на куски. Оба были героями. И в жилах их детей течет та же кровь... Нет, или я жестоко ошибаюсь, или эти люди не сдадутся. Они смерть предпочтут плену...

— А их экипаж? Как посмотрит на это их экипаж?

— Да, ведь, наемных людей там нет. Это все — заговорщики из того же Неаполя, из Рима, из Милана...

— Не можем ли мы чем-нибудь помочь им? — осведомился я. Но Мак-Кенна опять только пожал плечами.

— Ничем мы помочь не можем! — угрюмо ответил вместо него Костер. — Нам в пору позаботиться только о том, чтобы спасти собственную шкуру... Да ведь эта молодежь сама виновата во всем: если бы они не были прекраснодушными, но пустоголовыми юнцами, они никогда не вышли бы в море на этом старом, расхлябанном бриге, способном лишь переползать с места на место, как черепаха. Я предупреждал принца Де-Малиньи и его высших покровителей, чтобы они снабдили итальянскую секцию каким-нибудь небольшим, но быстроходным судном. Но там орудует «мадам». Она скупа, как Гарпагон. А теперь, вот, за ее скупость своими головами поплатится полсотни славных, хоть и пустоголовых ребят. А мы... Мы будем играть роль посторонних зрителей.

— Тяжелое настроение воцарилось на борту люгера.

Матросы Джонсона были люди, привыкшие ко всяческому авантюрам, по большей части старые морские волки, матросы военного флота или контрабандисты. Они на своем

веку успели-таки нанюхаться пороху...

Болтая с ними в свободные от работы часы, я мало-помалу познакомился с их биографиями и знал, что между ними были люди, помнившие Абукир, дравшиеся в водах Гибралтара, сражавшиеся под знаменами Нельсона и Вильнева. По характерному морскому выражению, эти люди и самого черта не испугались бы, заглянули бы ему в рот, чтобы поискать там зуб со свистом.

Но теперь и ими овладевала вполне понятная тревога: на нас наседало грозное боевое судно, которому мы не могли оказать ни малейшего сопротивления. Правда, на борту люгера имелось восемь пушек. Но, Боже мой, что значила эта наша малокалиберная артиллерия в сравнении с теми силами, которыми располагал наш противник...

— Нам подают сигнал! — предупредил Костера Мак-Кенна.

В самом деле, гнавшийся следом за нами фрегат поднял целую серию пестрых сигнальных флагов.

Опытные моряки, Костер и Джонсон, не нуждались в сигнальной книге для того, чтобы разобрать, что спрашивает у нас неаполитанец:

— Что за судно? Какого флага? Какого порта? Каков груз? Куда идете?

При помощи тех же сигналов флагами мы ответили:

— Русский люгер «Работник». Под флагом Российской Американской Компании. Груза почти нет: немного припасов. Порт назначения Ситха. Аляска.

— Замедлить ход! — просигнализировал нам неаполитанский фрегат.

Скрежеща зубами, дядя Сам отдал приказание матросам за-

рифить часть парусов. Люгер заметно замедлил ход. Фрегат быстро стал приближаться к нам, все еще на ходу сигнализируя:

— Что за судно впереди по курсу? Почему гонитесь за ним?

Мы ответили:

— Не знаем! Хотели догнать, чтобы попросить медикаментов или врача: имеем на борту больных!..

— Что за болезнь?

— Не знаем.

— Не увертывайтесь! Что за болезнь?

— Кажется, чума!

Воображаю, какую физиономию сделал командир фрегата, получив от нас этот ответ...

В те годы страшный бич человечества, зарождающийся, говорят, в джунглях Индии или болотах южной Персии, неоднократно вторгался на территории, занятые цивилизованными нациями, но, к общему счастью, человечество уже умело бороться с чумой при помощи чрезвычайно суровой системы карантин. Страх, внушаемый чумой, был чрезвычайно велик, особенно среди южных народов, увы, слишком хорошо знакомых с этой беспощадной болезнью...

Некоторое время после того, как мы подняли роковой сигнал, неаполитанский фрегат, явно растерявшись, не снимал своих сигналов.

Тогда мы подняли новую серию пестрых флагов:

— Просим прислать врача и лекарств!

Ответ не замедлил последовать, и был краток, но выразителен:

— Убирайтесь, или я вас пушу ко дну вместе с чумой!

Снова фрегат развернул всю свою парусность и пронесся мимо нас на таком расстоянии, что мы могли разглядеть его палубу.

— Он там! — тронул Джонсона за локоть доктор Мак-Кенна.

— Кто?

— Лорд Ворчестер! Оскорбитель трупа маршала Нея.

— Мерзавец! — скрипнул зубами Джонсон.

Я посмотрел на палубу неаполитанского фрегата в подзорную трубу и без труда нашел того человека, о котором говорили мои спутники. Он по костюму резко отличался от людей экипажа фрегата: был одет, как одеваются, или, правильнее, как одевались в начале девятнадцатого века элегантные молодые англичане, посетители Гайд-Парка и Ипсомских скачек. У него на голове был блестящий черный цилиндр, резко расширявшийся кверху, с круто загнутыми широкими полями. Плечи его облекал длиннополый рейтфрак. На длинных и тонких, как ходули, ногах были серые рейтузы.

В то время, когда я глядел на него, он повернулся ко мне лицом, — и я невольно вскрикнул: через лицо, прикрывая правый глаз, шла широкая черная повязка.

И трудно себе представить лицо, более надменное, улыбку более высокомерную, движения более угловатые и напыщенные...

— Он, опять он! — сжимая кулаки, гневно бормотал Мак-Кенна. — Ей Богу, этот человек помешан!

— Человек ли? — насмешливо отозвался Костер. — Не правильнее ли назвать его бешеной собакой. Семь смертных грехов Небо простит тому, кто отправит этого людоеда на тот свет.

Очевидно, мои спутники знали всю подноготную этого чело-

века. Я же знал про него одно: в 1815 году, когда в плен французским королевским войскам попался один из талантливейших и храбрейших маршалов Наполеона, «бесстрашный Баярд», генерал Ней, — французский полевой суд приговорил старого бойца к смертной казни. Ней умер, как солдат: его расстреляли. Расстреляли те самые солдаты, которых он водил к победам...

Это одно было уже достаточно гнусным.

Но самое гнусное было еще впереди. И в этой гнусности участвовал Ворчестер.

Когда труп маршала Нея лежал у той стены, у который его расстреляли, присутствовавший при казни в качестве зрителя Ворчестер, который был верхом на кровном скакуне, дал шпоры своему коню и дважды заставил лошадь перескочить через труп казненного. По-видимому, всадник добивался того, чтобы конь растоптал труп маршала Нея. Но конь не повиновался, — перескакивал через труп убитого героя, не смея коснуться мертвого тела копытами.

Тогда Ворчестер подъехал к трупу и дважды ударил его своим хлыстом...

Вопль негодования пронесся тогда по Франции. Отголоски общего негодования долетели и до Англии, где каждый порядочный человек осудил варварский поступок Ворчестера.

Ворчестер, если не ошибаюсь, играл какую-то роль при английском посольстве в Париже. Сент-Джеймский кабинет был вынужден немедленно отозвать Ворчестера, одно появление которого на улицах Парижа способно было вызвать бунт.

Какой-то наполеоновский офицер вызвал Ворчестера на дуэль, но Ворчестер сообщил о вызове французским властям. Те

арестовали приверженца Наполеона, придумали явно дутое обвинение в заговоре, и бедняга кончил свои дни в тюрьме при довольно загадочной обстановке, как кончали тогда в тюрьмах многие приверженцы павшего императора, расплачиваясь жизнью за преданность Наполеону.

Ворчестер уехал в Италию. Но и туда проникла уже весть об его поступке. И как-то раз в Милане, когда Ворчестер прогуливался по площади у великого Миланского собора, молодой итальянец, маркиз Гаэтани дважды ударил гордого англичанина по лицу хлыстом. Один из ударов выбил глаз Ворчестеру...

Вот все, что я знал об этом человеке.

Впоследствии мне пришлось узнать о нем многое, но все, что я узнал, не могло смягчить в моей душе, в душе солдата, презрения к этому знатному джентльмену, способному оскорблять труп павшего врага...

XI

Морской бой. О том, как сначала повесили человека, потом прибили к мачте флаг, а потом взорвали пороховой погреб.

На борту «Сан-Дженнаро» давно уже заметили погоню. Злополучный бриг сделал все, что от него зависело, чтобы уйти от встречи с грозным врагом, но все старания были тщетны: обогнав нас, фрегат стал подходить к бригу. Опять на мачтах фрегата появились сигналы: фрегат спрашивал, с кем он имеет дело.

Разумеется, это было пустой формальностью, ибо фрегат отлично знал, что перед ним «Сан-Дженнаро»...

Бриг дал желаемый ответ. Тогда, фрегат сигнализировал:

«Спустить все паруса, лечь в дрейф, ожидать приказаний».

В ответ на бриге подняли сигнал:

— Не желаем!

Едва поднялся этот сигнал, как с левого борта фрегата у бушприта сорвалось грязно-белое облачко порохового дыма, и через несколько секунд до нас донесся звук пушечного выстрела.

— Холостой выстрел! — сказал Костер.

— Начинается история! — стиснув зубы откликнулся стоявший рядом со мной Мак-Кенна.

В самом деле, история, вернее, трагедия начиналась...

Бриг, не отвечая на выстрел фрегата, удачным маневром отклонился в сторону, повернувшись к противнику кормой. Словно по волшебству слетели доски, замаскировывавшие квадратные люки кормовой батареи, и оттуда выглянули жерла четырех орудий.

Фрегат дал залп с левого борта. Почти одновременно рывнуло четыре десятка пушек. Но неаполитанцы плохо целились: чужинный град пронесся мимо брига, не причинив ему ни малейшего вреда.

Тогда загрохотали и пушки брига. Этот залп был удачнее: мы видели, как одно ядро влипло в борт неаполитанца почти у ватерлинии, а другое, прыгая, прокатилось по палубе, сшибло нескольких матросов, возившихся у палубной пушки, ударило в лафет этой пушки. На фрегате поднялись крики гнева и мести. И опять весь фрегат окутался пороховым дымом. И опять грохотали орудия большого калибра...

Бой разгорался. Оба судна то сближались, то расходились, осыпая друг друга градом снарядов. Два раза они подходили так

близко друг к другу, что их экипажи обменивались ружейными и пистолетными выстрелами.

— Труссы! Труссы! — кричал, бегая по палубе, старый пират Костер. — И эти люди смеют называться солдатами. О, подлые труссы! Смотрите, смотрите, джентльмены! Они боятся взять бриг на abordаж. Десять человек против одного, и эти десять не смеют сойтись грудь с грудью...

Два раза на фрегате поднимали сигнал:

— Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!

И два раза на бриге поднимали ответный сигнал:

— Придите и возьмите!

Но дело явно клонилось к развязке. В то время, как бриг отстреливался всего-навсего из двенадцати пушек, притом пушек малого калибра, причинявших врагу лишь ничтожный вред, — огромная дальнобойная артиллерия фрегата мало-помалу разрушала своего врага. Вот пара ядер связанных цепью, как ножом срезали грот-мачту брига. Вот ударившаяся в бок несчастного «Сан-Дженнаро» бомба взорвалась, разрушив почти всю носовую часть.

Вот другая бомба взорвалась на палубе, сметая толпившихся там людей.

Все слабее и слабее становился ответный огонь брига. Но он, все же, продолжался, покуда могли держаться на ногах немногие люди экипажа.

В этот период боя разыгралось нечто такое, смысл чего мы не могли понять.

После одного удачного выстрела с брига, из кормовой части фрегата повалили густые клубы дыма.

— Ловко! — с восторгом сказал Костер. — Бомба взорвалась внутри, недалеко от пороховой камеры, и там начался пожар...

На палубе фрегата воцарилось неопишное смятение. Мы могли видеть, как испуганные матросы метались во все стороны, бросались к спасательным шлюпкам, пытаясь овладеть ими. Офицеры отгоняли от лодок своих же собственных людей пистолетными выстрелами.

Мне казалось, что победа на стороне «Сан-Дженнаро», но я слишком поторопился радоваться...

Бриг уже был почти лишен возможности маневрировать, так как от его мачт оставались только обломки. Фрегат, хотя и пострадавший, все же сохранил две из своих трех мачт, и без труда двигался. Как только обнаружился пожар, фрегат отошел в сторону, куда бриг последовать за ним не мог, если бы и хотел. Уйдя из-под огня противника, команда фрегата принялась за борьбу с начавшимся внутри судна пожаром.

Полчаса спустя неаполитанцам удалось справиться с пожаром, не допустив его захватить крюйт-камеру.

Пользуясь передышкой, бриг тоже кое-как исправил свои повреждения, — то есть, очистил палубу от обломков и трупов, сбросил в море подбитые пушки, подвел пластырь к пробойне в кормовой части, рядом с рулем.

Потом, когда покончивший с пожаром фрегат стал снова приближаться, чтобы снова вступить в бой, на палубе «Сан-Дженнаро» разыгралась та странная сцена, о которой я упоминал выше.

Двое матросов вытащили откуда-то человека со связанными руками. Он упал на колени перед молодым человеком в форме

морского капитана. Тот дал знак, те же матросы подтащили связанного к мачте, на которой болталась еще одна рея. На шею связанного накинута веревочную петлю.

— Что за черт?! Они там кого-то вешают! — вырвалось у меня полное недоумения восклицание.

Действительно, дюжие руки потянули конец веревки, перекинутый через рею, связанный человек пробежал два или три шага по мокрой от крови палубе, потом повис в воздухе.

На фрегате видели эту сцену, и принялись обстреливать бриг, хотя расстояние между двумя судами было еще слишком велико.

Едва казнь была кончена, на борту «Сан-Дженнаро» разыгралась другая странная сцена.

Те же матросы вынесли на палубу какой-то сверток и полезли с ним по уцелевшим стенам на мачту.

— Кого это они еще хотят повесить? — спросил я самого себя. Но ответа дать не мог, пока не увидел, что речь идет не о человеке, а о куске белой ткани.

Может быть, это было обманом слуха, но я клянусь, что я услышал частые, торопливые удары молотка, вколачивающего гвозди в дерево.

— Что же они, в самом деле, устраивают? — обратился я к наблюдавшему эту сцену в подзорную трубу Костеру.

— Прибивают к мачте флаг!

— А для чего? Что это означает?

— Означает — что сами себе поют отходную... Означает, что умрут, но не сдадутся... Пустоголовые, но... но, черт возьми — brave ребята...

Легкий ветерок принялся трепать ткань прибитого к мачте

флага, словно не решаясь развернуть его. Но вот подул более сильный порыв, и ткань затрепетала и вытянулась по ветру.

И я ясно и четко увидел, что на прибитом белом с золотой бахромой полотнище была императорская корона, а под ней — только одна большая буква. И эта буква была N.

Минуту спустя я уже не видел ни знамени, ни даже самой мачты: бриг снова окутался пороховым дымом, встречая частыми залпами подходившего к нему на пистолетный выстрел врага.

Эта последняя часть неравного боя длилась не более пяти или шести минут. Дав три или четыре залпа, бриг смолк. Смолкли почему-то и пушки фрегата. И в это мгновение до нас донеслись звуки... пения.

Пело всего, быть может, десять или двенадцать голосов. Но пели они — марсельезу. Старую песню французской революции. Ту песню, под звуки которой французы громили своих врагов.

Еще несколько мгновений, — и словно громовой удар всколыхнул и небо, и море. Столб пламени вырвался из недр брига, унося к вечернему небу тучи искр и обломков, истерзанные человеческие тела и обрывки снастей.

Невидимая сила подбросила кузов брига, разворотила его, разбросала его куски во все стороны. Туча дыма поднялась на том месте, где за мгновение еще виднелись очертания брига.

— Клянусь Вельзевулом, мальчишки взорвались, чтобы не сдаваться! — крикнул у меня над ухом Костер, и неистово захлопал в ладоши.

Когда смолкло даже эхо взрыва, и ветер отнес в сторону тучу дыма, мы увидели, что фрегат, — это была, как я за-
был сказать раньше, «Королева Каролина», — заметно на



На развернувшемся белом полотнище была изображена императорская корона, а под ней буква N.

накренившись на один бок, стал торопливо отходить от места катастрофы.

Да и что ему было делать тут? Его цель — уничтожение брига была достигнута...

В глубоком молчании стоял весь наш экипаж, глядя туда, где еще недавно кипел неравный бой, где сражались и умирали люди.

Все пространство на том месте, где взорвался и затонул «Сан-Дженнаро», было усеяно обломками. Странная мысль мелькнула у меня в голове: броситься в воду. Зачем? Быть может там, среди обломков еще плавали последние, чудом уцелевшие от гибели защитники белого знамени с императорской короной и золотой буквой N...

По-видимому, что-то подобное задумал и Мак-Кенна: он горячо уговаривал Джонсона и Костера. Те взволнованными головами отвечали ему:

— Нельзя! Это было бы безумием! С борта фрегата отлично видно нас. Он вернется и пустит нас ко дну!

— Но ведь уже темнеет! — дрожащим голосом твердил хирург.

В самом деле, быстро, неудержимо быстро темнело.

Казалось, природа сама испугалась того, что здесь разыграла жизнь, и торопилась набросить покров ночной мглы на место роковой трагедии...

XII

**Люди на обломках «Сан-Дженнаро» и флаг с литерой «N».
Я догадываюсь, что я заговорщик и бонапартист.**

В то время, когда шел бой между «Сан-Дженнаро» и «Королевой Каролиной», легкий предвечерний ветер с северо-востока мало-помалу подгонял наш люгер к месту сражения.

Собственно говоря, только тем жгучим интересом, который охватил всех нас, начиная с капитана Джонсона и кончая юнгой «Кроликом», можно объяснить следующее обстоятельство: в последнем фазисе боя мы с люгером вошли в сферу огня. Правда, дерущимся было не до нас: для брига мы были друзьями, хотя он и знал, что помочь ему мы были бессильны, для фрегата — нейтральным судном. Разумеется, ни тот, ни другой сознательно не стреляли в нас. Но во время маневров, при спешной стрельбе, — пушки не могли считаться с нашим пребыванием в данном месте, и несколько раз снаряды или падали в воду в нашей непосредственной близости, или с визгом проносились у нас над палубой. Какое-то шальное ядро с фрегата ударило-таки в наш большой парус и прорвало в нем огромную дыру, а пара картечей влипла в наш правый борт. Но этим и ограничились повреждения, причиненные нам. Люгер отделался исключительно счастливо... Могло быть гораздо хуже; и гораздо дороже наше суденышко могло поплатиться за обуревавшее его экипаж острое любопытство...

Выше я уже сказал, что бой закончился в сумерках. Ночь как будто не спустилась, а упала с высот на море. «Королева Каролина», получившая, по-видимому, серьезную аварию при взрыве

брига, торопливо ушла в сторону, накренившись на правый борт. Мы оставались на месте, где разыгралась трагедия. Совершенно естественным являлось наше желание произвести поиски там, где злополучный бриг нашел себе могилу на дне океана: ведь история морских боев знает немало случаев, когда при взрывах, губивших большие суда, неожиданно спасались бывшие на этих судах люди.

Отличительные огни «Королевы Каролины» светились на расстоянии добрых двух километров. Сильно поврежденный фрегат явно не мог быстро вернуться на место катастрофы, если бы его команде и пришла подобная фантазия. Наконец мы могли издали заметить приближение фрегата и заблаговременно уйти. Теперь преимущество в скорости хода было явно на нашей стороне. Словом, не подвергаясь особенному риску, мы могли, по крайней мере, попытаться осмотреть место катастрофы и подобрать тех из людей экипажа, которые могли еще плавать, уцепившись за обломки потонувшего судна. По распоряжению Костера, наши матросы вывесили целую гирлянду фонарей на веревках с правого борта. Кузов «Ласточки» или «Работника» скрывал эти огни от глаз экипажа «Королевы Каролины», а в то же время свет фонарей мог дать указания уцелевшим морякам «Сан-Дженнaro», где находятся готовые оказать им помощь друзья.

Не довольствуясь этим, мы спустили все наши лодки и принялись рейсировать по морю, описывая широкие круги. Время от времени мы громко перекликались.

Признаюсь, большого успеха все эти меры не имели: покружив на месте до рассвета, мы выловили только плававшего на обломке балки незнакомого матроса, потом юнгу, мальчу-

гана лет двенадцати, и еще одного страшно обожженного полуголого человека, который держался за кусок мачты.

Матрос имел на мускулистом теле множество ран с рваными краями. Он еще дышал, и что-то жалобно бормотал, когда мы его нашли; но пока подобравшая его лодка доставила его к борту «Ласточки», — его тело начало холодеть. Он умер, не приходя в сознание.

Юнга оказался целым и невредимым, но на него нашел столбняк: он неимоверно гримасничал и заливался слезами; это длилось несколько мгновений, потом его бледное лицо застывало. У него, по-видимому, отнялся язык: он не мог вымолвить ни единого слова.

Третьего и последнего из экипажа «Сан-Дженнaro» подобрала именно та лодка, на которой находился я. Нашли мы его совершенно случайно, когда уже порешили, что дальнейшие поиски бесполезны, и нам надо возвращаться на борт «Ласточки». В последний раз, как говорится, для очистки совести, мы еще раз хором крикнули, и на наш крик кто-то отозвался хриплым стоном в непосредственной близости лодки. По звуку мы подплыли к тому месту, где плавал несчастный, и наткнулись на обломок мачты, за который судорожно уцепился полуголый человек.

Когда мы начали перетаскивать его в лодку, — он опять застонал, и сквозь стон произнес довольно внятно:

— Знамя! Ради Бога, спасите знамя!

— Какое знамя? — удивленно спросил я. — Где оно?

— Здесь! У меня под рукой! — простонал он.

— Тащите его сюда!

— Н-не мог-гу! — с явным трудом вымолвил он.

— Почему? Зацепилось оно, что ли?

— Н-нет! Оно прибито к мачте.

Как молния, мой ум осенила догадка: несчастный цеплялся за обломок той самой мачты, к которой его товарищи перед концом боя прибили белое знамя с золотой бахромой и буквой N под императорской короной.

Матросы втащили этого человека в лодку. Я нащупал болтавшееся в воде полотнище, рванул, — и знамя оказалось в моих руках.

Пять минут спустя мы подошли к борту «Ласточки», и нашу лодку подтянули на таях.

Доктор Мак-Кенна сейчас же занялся подобранным нами человеком, а я — подобранным знаменем.

Я отнес его в капитанскую каюту, в которой никого не было, выжал из него уйму воды, разостлал на столе и начал осматривать.

Первое, что бросилось мне в глаза, была императорская корона в добрый метр величиной. Под ней — огромная буква N больше двух метров вышины.

Спустив один из краев полотнища со стола, я обнаружил, что по краю шла длинная надпись, тоже вышитая золотом. «Свобода или смерть» — стояло на одном краю. «Женщины Италии Цезарю» — на другом. И, наконец, на третьем — надпись, которая сразу сделала мне понятным почти все то, чего я до сих пор не понимал:

Эта надпись была сложнее и длиннее других.

«Наполеон Великий! Народы латинской расы ждут тебя! Ве-

ди, освобожденный освободитель, свои легионы к новым славным победам!»

— Так вот в чем суть, невольно воскликнул я, хлопнув себя по лбу! Так вот из-за чего все эти хлопоты? А я-то, дурак... Ну, разве я не был идиотом? И, Господи, до чего можно быть тупым?! И как это только я мог, слепец, не догадаться, что и Джонсон, и Костер, и Мак-Кенна, и люди экипажа «Сан-Дженнаро», и мадемуазель Бланш с сыном, сыном Наполеона, и все мы, — ибо и я входил в это число, — мы были заговорщиками. Мы, — одни вполне сознательно, как Джонсон и Костер, другие не ведая того, как наши матросы, — все работали над сложным и опасным делом освобождения Наполеона из заточения на острове св. Елены, чтобы помочь ему вернуть утраченный трон...

Но, как же это?

Кто же держит Наполеона в плену? Англия! Моя родина. Кто смотрит на Наполеона, как на злейшего врага? Англия, моя родина. Кто я? Англичанин.

Логически рассуждая, и я должен был смотреть на императора французов, как на злого врага. А на людей, которые хотели освободить его из плена, как на врагов. Раз он враг, то и они — враги.

Но ведь, Джонсон, Мак-Кенна и я, — мы англичане. И раз мы помогаем освобождению Наполеона, то мы идем против Англии, против нашей же родины. Кто же мы?

Ответ мог быть только один:

— Государственные изменники.

Раз додумавшись до этого вполне логического вывода, я растерялся.

Признаться, долголетняя служба в солдатах отучила меня от

привычки самостоятельно рассуждать. Мне приказывали идти — я шел. Приказывали стоять — я стоял, даже под градом пуль неприятеля. Мне приказывали драться — я дрался. И даже очень охотно... Мне говорили: «Французы — это наш враг». И я кидался, как вепрь или как бульдог, на французов. Ненавидел ли я их? О, нет, ничуть...

Суть ведь в том, что моя мать была родом из Канады. В Канаде в конце восемнадцатого века буквально все белое население, включая и чистокровных англичан, отлично говорило по-французски. Моя мать владела французским языком даже, пожалуй, лучше, чем английским. Я сам в дни детства постоянно слышал вокруг себя именно французскую речь, и к французам относился точно так же, как и к англичанам.

И потом, со дня битвы при Ватерлоо, когда пухлые пальцы Наполеона больно ущипнули меня за ухо, щелкнули меня по лбу, а странно-прозрачные глаза глядели мне прямо в лицо, — я как-то уже не мог отделаться от личного обаяния Наполеона...

Англия сделала Наполеона своим пленником. Англия сделала сама себя добровольным тюремщиком павшего императора французов. Но ведь Англия — это, между прочим, и я, Джон Браун, рядовой одиннадцатого линейного стрелкового полка. И Джон Браун — это Англия. А спросил ли кто-нибудь Джона Брауна, согласен ли он, чтобы Наполеон, сидевший на троне, остаток своей жизни провел где-то на острове, затерянном на просторе Атлантического океана? А спросил ли кто-нибудь Джона Брауна, согласен ли он быть тюремщиком Наполеона? Ведь, нет же!

А раз нет, то какое же мне дело до этого решения? Не свобо-

ден ли я поступить так, как подсказывает мне моя собственная совесть?

Покуда я предавался этим размышлениям, Джонсон и Костер вместе с Мак-Кенна спустились в капитанскую каюту.

— Еще одна карта, и карта крупная, бита нашими противниками, — сказал Джонсон досадливо.

— Дайте мне огня! — ответил Костер, вытаскивая сигару и тщательно обрезаая ее конец, чтобы закурить. Крупная карта, говорите вы, Джонсон, в *нашей* игре?

— Ну, да! — ответил Джонсон. — Или вы не находите этого?

— Не нахожу! — хладнокровно заметил Костер.

— Почему?

— Во-первых, карта не была крупной. Иначе ее не побили бы. Это был, вне всяких сомнений, совсем неудачный ход. Итальянцы — азартные, но очень плохие игроки. Их игра дерзка, но выдержки и расчета у них мало. Это раз. «Мадам» — старая скряга, которая напрасно ввязывается в игру. Ей надо было бы сидеть смирно и в дело не мешаться. Это — два. А в-третьих... В-третьих — не забывайте этого, друг Джонсон! — вмешательство этих пустоголовых итальянцев спутывало все *наши* карты. Если бы им удалось... вы знаете, что могло удаться им... Если бы задуманное, дело удалось *им*, — то какую роль во всем играли бы тогда *мы*?..

— Я об этом не подумал, — признался Джонсон, почесывая затылок.

— Да. Вы не мастер думать, — с холодной иронией заметил Костер, выпуская клубы сигарного дыма. — Вы упустили из виду, что тогда и вся честь и весь барыш достались бы на долю этих милых, но пустоголовых юношей. От чести я охотно отказался

бы. Но от миллионов, обещанных известными лицами за... ну, вы знаете, за что именно... От миллионов я отказываться отнюдь не желал бы. Да и вы, я полагаю, тоже...

— И я тоже, — признался дядя Сам.

Наступило молчание. Воспользовавшись паузой, я, быть может, неожиданно для самого себя, вмешался в разговор.

— Я теперь, наконец, знаю, в чем дело.

— Да ну?! — притворился изумленным Костер.

— Вы участвуете в заговоре французских бонапартистов, имеющем целью освобождение экс-императора французов, Наполеона, с острова св. Елены.

Я думал, что мое заявление заставит смутиться и Джонсона и Костера. Но мои ожидания не оправдались. Оба они ответили мне дружным смехом. Костер еле выговорил:

— Гениальная личность этот Джонни Браун! Ха-ха-ха! Феноменальная сообразительность у Джонни Брауна! Хо-хо-хо! Изумительная проницательность и невероятная догадливость! Хи-хи-хи! Не правда ли, друг Джонсон? Хэ-хэ-хэ...

XIII

Мистер Джон Браун протестует против дальнейшей игры в жмурки и соглашается играть в бонапартисты. Морские похороны. Знак с литерой «N» вместо савана.

Когда я сказал Джонсону и Костеру, что я раскусил их и что отныне для них бесполезно продолжать играть со мной в прятки, — оба они хохотали, как безумные; а Костер долго отпуская шуточки по части моей догадливости и сообразительности. Призна-

юсь, меня это в достаточной мере рассердило, и я ответил Костеру в резком тоне, но он не оскорбился моей грубостью, и только напомнил мне отзыв императора Наполеона обо мне: отзыв, лестный для меня, как солдата, но мало лестный, как для человека.

Это напоминание о Наполеоне дало другой оборот моим мыслям.

— Вы хотите освободить Бонапарта! — сказал я. — Отлично! Я ничего против этого не имею.

— Мы хотим не столько освободить Наполеона, — цинично улыбаясь, отозвался Костер, — сколько заработать малую толику денег. Имеете ли вы, мой юный друг, Джонни Браун, что-либо против этого? При ответе Джонни Браун должен иметь ввиду то обстоятельство, что если нам удастся наше дело, — а оно удастся, мы добьемся этого, хотя бы нам пришлось перевернуть небо и землю, — то и сам Джонни получит известную долю, и тогда, сможет жениться на Минни Грант... Пусть мой юный друг, Джонни Браун не кипятится, а раньше, чем дать ответ, подумает, и очень подумает...

— Мне нечего долго думать! — сказал я угрюмо. — Вы, мистер Костер, можете смеяться, сколько вам угодно, над моей тугоголовостью. Я и сам знаю, что я человек не из далеких. Мысли мои, правда, коротенькие. Я это знаю. Но было бы лучше, если бы вы сказали мне все откровенно раньше, чем впутали меня в это дело.

— Кто знает?! — улыбнулся Костер. — Правда, Джонни, вы — человек молчаливый, но, все же, осторожность не мешала...

— Теперь спрашивать меня, — продолжал я угрюмо, — уже

поздно. Я так запутался с вами, что, пожалуй, выпутываться и не стоит.

— Браво! — одобрил Костер. — Узнаю моего Джонни. Ему трудно раскататься, но раз он раскатается... Как бульдог: если вцепится в кого-нибудь зубами, — то не заставишь его разжать зубы.

— Да, как бульдог! — ответил я. — Знаете, почему я теперь считаю себя связанным с вами? Вопрос о Минни — вздор. Я во всяком случае женюсь на ней. Вопрос о деньгах тоже вздор. Я за большими деньгами не гонюсь, а кусок хлеба всегда заработаю. Но штука вот в чем: я хочу расплатиться с теми, которые подослали убийц, ухлопавших в Новом Орлеане беднягу Шольза. Я хочу причинить как можно больше вреда тем, которые потопили на наших глазах бриг «Сан-Дженнаро», не осмелившись даже пойти на абордаж. Вот что! А еще я хочу вышибить второй глаз у одного франта, который тоже впутался в эту историю.

— У кого это? — удивленно осведомился Джонсон.

— У Ворчестера, который издевался над трупом Ней. Хоть Ней и француз, хоть он, говорят, и был нашим врагом, — но он солдат, и я солдат. А Ворчестер — коршун, стервятник... Ну, я все сказал. И с меня довольно слов. Впрочем, нет. Еще кое-что! Вы, джентльмены, впутывая меня в это дело, не сочли долгом поделиться со мной сведениями о нем, считая Джона Брауна за чересчур ограниченного субъекта. Ничего против этого не имею. Но теперь, после того, как я являюсь вашим компаньоном, хотя, может быть, и без права голоса...

— Нет, отчего же?! Говори, Джонни!

— Ну, так я теперь считаю долгом сказать вам, что и вы все в этом деле особой хитрости не обнаружили.

— Как это так? — заинтересовался Костер.

— А так... Кто играет против Бонапарта? Могущественные государства. У врагов Бонапарта — огромные денежные средства и армия готовых слуг. Для меня ясно, хотя я и простой полуграмотный солдат, что за всеми крупными сторонниками Наполеона по пятам гоняются целые стаи шпионов. Каждый шаг этих сторонников Наполеона, значит, известен. А вы, высокообразованные и опытные джентльмены, считая долгом скрывать свои тайны от Джонни Брауна, не принимали в сущности никаких мер предосторожности в сношениях с «мадемуазель Бланш». Если бы я был заинтересован в том, чтобы Наполеон не сбежал от Хадсона Лоу, — знаете, что я сделал бы? Я держал бы около мадемуазель Бланш и прочих близких к Наполеону людей по целой дюжине шпионов... И эти шпионы донесли бы мне:

— Бланш ведет какие-то переговоры с отчаянной головой, Костером, и с морским волком, Джонсоном. Костер и Джонсон завели знакомство с Шользом, который собирается строить подводный корабль. Значит...

Костер и Джонсон переглянулись.

— А как поступил бы в данном случае Джонни Браун? — спросил насмешливо Костер.

В ответ я пожал плечами.

— Не знаю! — сказал я откровенно. — Ведь, в самом деле, у меня голова достаточно дубовая. В изобретатели я не гожусь... Но те способы, которые применяли до сих пор вы и ваши друзья — явно не годятся. Это для меня ясно.

Опять Костер и Джонсон переглянулись.

— Я говорю, — продолжал я, — в этом повинны не вы одни. Я бы желал знать, кого и за что именно повесили на рее «Сан-Дженнаро» ваши друзья. Заметьте, не пристрелили, не сбросили в море, а повесили. А на войне вешают только шпионов. И я думаю, что это был шпион. А что это доказывает? По-моему, это доказывает только то, что у ваших врагов имеются свои агенты даже в рядах самих заговорщиков. А отсюда я делаю вывод: действовать так, как вы действовали до настоящего времени, не стоит. Нужно придумать что-нибудь другое. Что именно — этого я вам, конечно, сказать не могу: для этого надо мозги потоньше моих. Ну, я все сказал. А вы подумайте о том, что от меня услышали.

Костер швырнул на пол окурок своей сигары, поднялся, протянул мне руку и сказал совсем не тем тоном, которым обыкновенно говорил раньше со мною:

— Мистер Браун! Прошу у вас извинения. Я вижу, что в оценке вашей я получил весьма серьезную неточность...

Я недоверчиво посмотрел на старого пирата, думая, что тот смеется, но у него на лице было серьезное выражение.

— В самом деле, — обратился он к Джонсону, — Джонни прав: нужно действовать иначе. Как именно — об этом надо серьезно подумать. Во всяком случае, — я игру бросать не намерен. Я слишком в нее втянулся и буду играть, пока не добьюсь своего или не сломаю себе шею.

— И я тоже! — отозвался Джонсон.

— Я думаю, сейчас нам не остается ничего другого, как вернуться в Европу.

— Вернемся! Доктор Мак-Кенна держится того же мнения.

— Да, я держусь того же мнения, — услышал я ровный и спокойный голос хирурга.

— Хорошо! — согласился Джонсон. — Пойдем, значит, по другому курсу?! Ничего против этого не имею...

Он вышел на палубу отдать распоряжения команде.

Тем временем Мак-Кенна положил руку мне на плечо и сказал:

— Джонни! Вы — хороший солдат. Вы и в других умеете ценить те качества, которые из человека делают хорошего солдата. Хотите, я вам покажу одного субъекта, у которого в груди билось честное солдатское сердце.

— Это тот, которого я вместе со знаменем Наполеона вытащил из воды перед рассветом? — осведомился я, вставая.

— Тот самый!

— Что с ним? Он сильно страдает?

— Нет! Он уже не страдает, — многозначительно ответил Мак-Кенна с легким дрожанием в голосе.

— Умер?

— Только что. Сердце не выдержало той работы, которую ему пришлось нести.

Мы поднялись на палубу. Там, на импровизированной койке лежало прикрытое чьим-то одеялом тело. При первом взгляде на это мертвое тело холодок пробежал по моим жилам: я узнал в покойнике того самого молодого итальянца с «Сан-Дженнаро», который на острове Сен-Винсенте разыгрывал роль повара, специалиста по изготовлению макарон.

— Вот, Джонни, — сказал Мак-Кенна, показывая на красивое

смуглое лицо покойника, — вот он... Сейчас мы зашьем его изуродованное тело в грязный мешок, привяжем к ногам камни, и труп пойдет ко дну. Морские похороны... А знаешь, — кто это?

— Не знаю, но догадываюсь. При мне Джонсон называл его несколько раз «его светлость» и «герцог».

— Да, «его светлость» и «герцог», — задумчиво вымолвил хирург. — Я знал когда-то его отца, и знал его мать. У его отца была любимая поговорка, как у герцогов де Роган: «Богом сделаться я не могу, делаться королем — не стоит. Я — Гаэтано Гаэтани Сальвиатти из Рима»... Понимаешь, Джонни? У его отца были владения, богатству которых позавидовал бы любой король, а у сына — грязный мешок вместо савана... Я знал его мать: это была одна из самых красивых и одна из самых гордых женщин в мире. Однажды при мне она подъехала в раззолоченной карете шестеркой к театру. На улице было грязно. А она, — принцесса из дома Колонна, — была в светлых туфельках. И вот, кто-то из молодых людей, имевших честь считаться близким к дому Гаэтани, сорвал со своих плеч роскошный бархатный плащ с собольей оторочкой и швырнул его в грязь, как ковер для нежных ножек принцессы. И толпа аплодировала этому поступку. И принцесса прошла по брошенному в грязь бархатному плащу, как по ковру, удостоив молодого человека приветливой улыбкой и легким кивком головы. И, вот, — сын этой самой принцессы будет сейчас лежать в грязном мешке на дне морском... И его мать, быть может, никогда не узнает даже того, какая участь постигла ее сына... И знаешь, во имя чего он сложил свою голову? Во имя того же Наполеона! Не как человека, нет! А во имя Наполеона, как символа...

— Не совсем понимаю я все это, — проворчал я. — Ведь голова у меня дубовая... Но вы тут все твердите о грязном мешке. Это я понимаю. Так у меня имеется кое-что получше, чем грязный мешок для савана этого бедняги.

Я спустился в капитанскую каюту, добыл там еще мокрое белое знамя с золотой короной, у корабельного плотника взял толстую иглу и в несколько минут зашил труп молодого итальянца в этот оригинальный саван.

По знаку Джонсона два матроса, подняли койку с трупом над бортом. Тело скользнуло с койки через борт и упало в воду.

Миг, — и волны сомкнулись над поглощенной ими добычей. А наш люгер мчался, направляя свой бег снова на север...

XIV

Снова «Королева Каролина». «Спустить паруса, лечь в дрейф, ожидать приказаний!» Военно-морской суд. Мистер Джон Браун узнает, что он — итальянский заговорщик.

В те часы, когда на палубе «Ласточки» происходили скромные приготовления к похоронам герцога Гаэтано Сальвиатти, мы шли в открытом море западнее островов Зеленого Мыса.

На безграничном морском просторе не было видно ни единого паруса. «Королева Каролина» исчезла куда-то.

Но около полудня на востоке показались мачты какого-то корабля. Не предполагая, что появление этого судна может иметь какое-либо отношение к нам, мы спокойно продолжали свой путь. Прошло еще полтора или два часа, и я заметил, что на лицах Костера и Джонсона появилось озабоченное, даже, пожалуй,



Вкладка к Части 1 Главе II
Бой при Ватерлоо.



Вкладка к Части 1 Главе XVII
В американском паноптикуме.

встревоженное выражение. Они старательно наблюдали за этим судном с востока в свои телескопы, и время от времени отдавали нашему экипажу, то или иное приказание, имевшее целью ускорение хода, или известное изменение направления. После двух или трех часов такого маневрирования Костер опустил поднесенную к глазам зрительную трубу и сказал Джонсону:

— Нет ни малейших сомнений, неаполитанский дьявол пронохал, в чем дело, и гонится именно за нами. Придуманная нами сказка о чуме уже не действует на него, наш маскарад его не обманет.

Джонсон пожал нетерпеливо плечами.

— Да, пожалуй! — отозвался он. — Если неаполитанец, действительно, гонится за нами, то продолжать маскарад не удобно. За это можно поплатиться.

— Ну, так снимем маску. Посмотрим, посмеет ли он затронуть нас, если мы будем идти под собственным флагом.

Полчаса спустя «Ласточка» преобразилась, или, вернее сказать, приняла свой обычный, нормальный вид. А прошло еще около часа, и вернувшаяся «Королева Каролина» находилась уже на расстоянии всего нескольких кабельтовых от нас.

— Что за судно? — поднялся сигнал на мачтах неаполитанского фрегата.

— Люгер «Ласточка» из Саутгемптона, — ответили мы.

— Командир — капитан Джонсон?

— Да, капитан Джонсон, командир и владелец люгера. Что нужно?

— Спустить паруса, лечь в дрейф, ожидать распоряжений!

— Что вам от нас нужно? По какому праву?

— Опустить паруса, лечь в дрейф, ожидать распоряжений!

— По какому праву предъявляется требование?

— Спустить паруса, лечь в дрейф, ожидать распоряжений.

— Мы идем под английским флагом!

— Спустить паруса, лечь в дрейф, ожидать...

— Наши акции стоят весьма низко! — со злобной улыбкой вымолвил Костер. — Эти дьяволы откуда-то имеют точные сведения о нас, и боюсь, что церемониться с нами не станут, а оказывать им сопротивление мы можем еще в меньшей степени, чем люди с брига «Сан-Дженнаро». Отдавайте приказание вашим людям исполнить распоряжение. Ничего больше не остается.

Джонсон, неистово ругаясь, отдал распоряжение, и люгер лег в дрейф. Когда наши матросы еще возились с уборкой парусов, дозорный крикнул:

— Судно с севера!

Известие о приближении еще какого-то судна никакого впечатления на нас не произвело: оно было так далеко, что на его вмешательство в наши дела мы рассчитывать не могли. Да вряд ли кому-либо и могло прийти в голову вмешиваться...

Тем временем «Королева Каролина» подошла, как говорится, вплотную к нам. Добрых сорок или даже пятьдесят орудий большого калибра глядели на нас своими чугунными жерлами. На палубе стояло сотни две солдат морской пехоты в полной готовности по первому знаку приняться осыпать нас пулями или кинуться на abordаж. И на капитанском мостике, в толпе пестро разряженных офицеров в треуголках стоял человек в длиннополом фраке и рейтузах, с цилиндром на голове, с черной повязкой через правый глаз и с хлыстом в руке.

О сопротивлении нечего было и думать. Единственное, что мы могли сделать, — это последовать примеру «Сан-Дженнаро» и взорваться на воздух. Но ни Костеру ни Джонсону это и в голову не приходило. Да, признаться, и я не испытывал ни малейшего желания покончить самоубийством: оно казалось мне форменной нелепостью. Если товарищи герцога Гаэтано прибегли к этому средству, у них имелись на это основания. Они, должно быть, знали, что их соотечественники — неаполитанцы, все равно, пощады им не дадут. Мы же находились в ином положении: нас охранял английский флаг. Англия никогда и никому не позволяла безнаказанно обижать своих детей...

Фрегат спустил четыре шлюпки. В каждой шлюпке помещалось, кроме гребцов, человек по двадцать вооруженных с ног до головы солдат под командой офицеров. Шлюпки почти одновременно подошли к нашему борту. Молодой офицер с красивым надменным лицом первым поднялся по фальрепу к нам на палубу, небрежно кивнул головой стоявшему на палубе «дяде Саму» и на довольно чистом английском языке сказал:

— Капитан Джонсон?

— К вашим услугам, — ответил тот угрюмо. — Что нужно?

— Вы — мой пленник! Надеюсь, что вы не принудите меня к крайним мерам.

— Ваш пленник? — ответил Джонсон, сжимая кулаки. — По какому праву вы берете меня в плен?

— Исполняю приказание адмирала Санта-Кроче! — заявил резко офицер.

— Я... я протестую!

— Сколько вам угодно! — засмеялся тот, и потом, обратив-

шись к своим солдатам, отдал какое-то приказание. В мгновение ока солдаты окружили нас.

— Кандалы? — вскрикнул Джонсон, отступая к грот-мачте, когда увидел, что в руках приближавшихся к нему солдат появились цепи.

— Да, кандалы! — насмешливо отозвался итальянец. — Не сопротивляйтесь, капитан Джонсон. В противном случае я расстреляю вас на месте.

— Не глупите, Джонсон! — предостерег разъяренного моряка Костер.

Ворча какие-то ругательства, Джонсон протянул руки, и солдаты надели на него кандалы.

— Следующий! Мистер Костер! — скомандовал офицер.

Костер швырнул через борт окурок сигары и флегматично подставил руки.

— Следующий! — Продолжал командовать офицер. — Хирург Мак-Кенна!

Закованным оказался и доктор.

— Следующий! Мистер Джон Браун!

Я испытывал почти непреодолимое желание прыгнуть, сбить офицера кулаком с ног, и...

Но благоразумие одержало верх, и меня заковали, как и предшествующих. Таким образом, один за другим все люди нашего экипажа оказались в руках у неаполитанцев. Заковали даже того юнга с «Сан-Дженнаро», которого мы выудили из воды и который так и не вернул себе способности речи, потерянной при взрыве брига.

На наших глазах из перебравшихся на борт «Ласточки» мат-

росов с фрегата была сформирована для люгера отдельная команда, какой-то офицер принял на себя командование люгером, нас же всех, разбив на партии по пять и шесть человек, перевезли на борт фрегата. Там нас выстроили на палубе, окружив со всех сторон вооруженными солдатами. На палубе оказался стол, накрытый красным сукном, на котором лежало несколько книг. За столом разместилось пятеро офицеров: в центре — сухощавый старик с седеющей бородкой в мундире адмирала, по бокам — два пожилых офицера, грудь которых была украшена огромным количеством орденов и медалей. Несколько поодаль справа и слева — два молодых офицера.

— Суд приступает к делу! — провозгласил адмирал. — Открывая заседание. Господин прокурор, прошу изложить обвинение.

Один из сидевших по краям стола офицеров поднялся и принялся читать обвинительную речь.

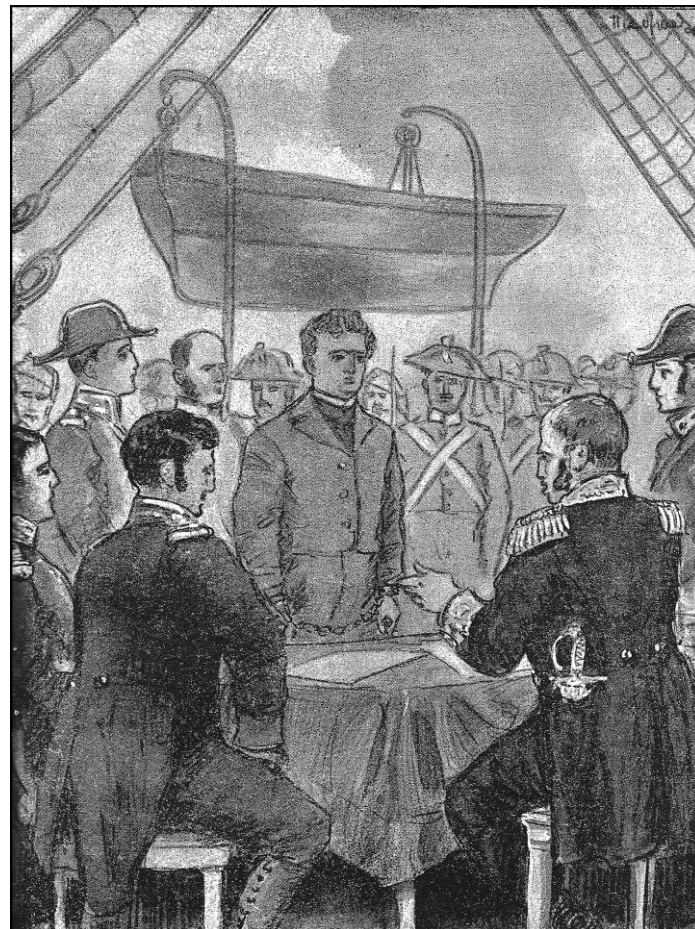
Все заседание велось по-итальянски, но тут же слово за словом переводилось на английский язык каким-то джентльменом в штатском платье.

Обвинительная речь была коротка, но очень выразительна.

В чем обвиняли нас?

Я только почесывал затылок, узнавая свои собственные страшные вины...

Оказалось, все мы были участниками грандиозного итальянского заговора, организованного еще в 1814 году молодежью Рима и Неаполя в пользу Наполеона, тогда находившегося на острове Эльба. Целью этого заговора было освобождение и объединение всей Италии под скипетром нового цезаря, Наполеона.



Заговорщиков выстроили на палубе перед столом, накрытым красным сукном, и началось чтение обвинительного акта.

В качестве агентов-заговорщиков, мы входили с сношения с родственниками Наполеона, в частности с его сестрой, принцессой Паолиной Боргезе, и получали деньги на осуществление наших целей, с одной стороны, от экс-оперной артистки или балерины мадемуазель Бланш Дюрвилль, проживающей в Северо-Американских Соединенных Штатах, с другой — от брата Наполеона, Жозефа, экс-короля испанского, а, главным образом, от Марии-Летиции Бонапарт, «мадам», престарелой матери Наполеона.

Помимо участия в этом заговоре, нам вменялось в вину множество других преступных намерений. Так, мы намеревались изгнать из Италии все сплошь католическое духовенство и отменить в пределах Италии христианскую религию. Мало того, мы намеревались лишить трона и предать смерти всех членов королевской династии Бурбонов Неаполя и Сицилии. И так далее и так далее...

Прокурор, закончив свою обвинительную речь, просто-напросто требовал, чтобы нас четверых, то есть Костера, Джонсона, меня и Мак-Кенна предали смертной казни через повешенье тут же, на борту «Королевы Каролины». Остальной экипаж, по его мнению, заслуживал некоторого снисхождения, ибо мог и не знать о сути заговора, но во всяком случае, все люди этого экипажа подлежали пожизненной каторге.

За прокурором принялся произносить свою защитительную речь молодой офицер, явно тяготившийся ролью защитника. Он, впрочем, тоже являлся скорее обвинителем, чем защитником, не пытался даже усомниться в нашем участии в грандиозном заговоре, но находил, что в качестве иностранных подданных, и

притом оперировавших не в Италии, а в пределах других стран, мы все подлежали передаче на усмотрение суда Англии и Северо-Американских Штатов.

Затем опять заговорил прокурор. По его словам, если бы даже, в самом деле, неаполитанский военно-морской суд, перед лицом которого мы находились в данную минуту, признал тезисы защитника, то, все же, о передаче нас другому суду не могло быть и речи: помимо заговора мы виновны в пиратстве.

Доказательства? Они налицо: люгер оказался вооруженным несколькими пушками. В трюме люгера не было никаких грузов, кроме боевых припасов. Мало того, всего только вчера люгер шел под ложным флагом и именовался другим именем. Это все — признаки весьма тяжкие. Но, кроме того, имелись и другие улики: пребывание на борту люгера знаменитого пирата Костера, уже заочно осужденного испанским судом за пиратство.

С кем поведешься, от того и наберешься. Раз Костер был равноправным членом судовой команды, чего никто не мог отрицать, то и все остальные люди экипажа — таковы же. Следовательно...

— На этот раз я требую смертной казни для всей этой компании, — закончил свою речь прокурор. — Это нужно сделать в интересах человечества. Этого требует наш долг перед людьми и перед Господом Богом.

— Теперь заслушаем, что скажут в свое оправдание сами подсудимые, — заявил по окончании речей прокурора и защитника председатель суда, адмирал Санта-Кроче.

Приговор к смертной казни. С петель на шее. На что иной раз годится крепкий череп. «Человек за бортом!» Фрегат «Посейдон».

Вести от лорда Голланда и честное слово мистера Джонсона.

Разумеется, весь этот импровизированный суд был сплошной комедией, мы были осуждены заранее.

Эти люди, торопившиеся отправить нас на тот свет, не заботились даже о том, чтобы соблюсти хоть приличия, исполнить хотя бы для проформы требования закона относительно процедуры. Мы, обвиняемые, лишены были по существу права говорить что-либо в свое оправдание. Едва мы начинали говорить, председатель обрывал нас криком:

— Довольно! В двух словах: ты признаешь себя виновным, или нет? Нет? — Отлично! Следующий!

Затем тут же, в нашем присутствии, суд приступил к совещанию, которое длилось не более двух минут, и вынес приговор:

— Всех, найденных на борту люгера «Ласточка», как пиратов, предать смертной казни через повешенье. Приговор привести в исполнение немедленно. Люгер объявить собственностью короля Обеих Сицилий.

Едва этот чудовищный приговор был произнесен, как тут же начались приготовления к приведению его в исполнение. Десяток матросов забрались на реи грот-мачты и бизани, чтобы там закрепить концы веревочных петель.

Загремел барабан. Двое солдат потащили к грот-мачте Джонсона, другие двое — Костера, третьи — меня.

На шее Джонсона, была уже надета петля. К шее Костера пет-

лю только приспособляли. Моя шея была еще свободна. В это мгновение я увидел в двух шагах от себя человека, на мертвенно бледном лице которого было выражение сатанинской радости: это был англичанин. Это был проклятый Ворчестер, тот самый, который топтал ногами своего коня труп расстрелянного маршала Нея...

— Собаки! Собаки! — шипел он мне прямо в лицо.

Дикая злоба охватила все мое существо. Почти не сознавая, что я делаю, я рванулся из крепко державших меня рук конвоиров. Мое движение было так быстро, что конвоиры не успели удержать меня. Я скользнул вниз, увлекая их за собой на палубу, согнулся, как пружина, потом, как пружина же, выпрямил свое тело.

Ударить Ворчестера руками я не мог: руки мои были в кандалах. Но у меня в распоряжении была голова, и у меня крепкий череп, который оказался в состоянии выдержать даже удар пули из пистолета мнимого траппера, убийцы несчастного Шольза.

Еще миг, и моя голова, как таран, ударила в живот и грудь лорда Ворчестера с такой силой, что он отлетел в сторону как мяч. По пути он сбил какого-то бежавшего с веревкой в руках матроса, и оба свалились за борт покачнувшегося в этот момент судна.

— Человек за бортом! Люди за бортом! — раздались крики.

— Спускай спасательный бот! Люди за бортом!

Несколько мгновений длилась суматоха. Экипаж «Королевы Каролины» без толку метался по палубе. Офицеры отдавали противоречивые приказания, которые, сейчас же отменялись. О нас на время позабыли.

Длилось все это, может быть, не более пяти, или десяти минут, но — как я глубоко уверен, — именно эти пять или десять минут спасли нам всем жизнь...

Пока шла комедия суда над нами, неизвестное судно, приближение которого нами было замечено еще до сдачи неаполитанцам нашего люгера, не теряло времени, оно мчалось к нам на всех парах и теперь легло в дрейф на очень близком расстоянии от фрегата. Полдюжины шлюпок подошло к борту «Королевы Каролины».

— Фрегат, стой! — слышался оклик на родном английском языке. — Спустить трап!

И минуту спустя на палубе фрегата стояла группа людей в форме английских моряков той эпохи.

Сам адмирал Санта-Кроче встретил гостей при их появлении.

— Капитан фрегата его величества, короля Великобритании, «Посейдон», лорд Гальдан, просит командира фрегата «Королева Каролина» не отказать уведомить, что тут происходит и почему «Королева Каролина» овладела люгером, шедшим под английским флагом? — осведомился резким тоном английский офицер.

— Мы обнаружили и захватили в этих нейтральных водах пиратское судно, — с видимым замешательством ответил неаполитанец.

— Люгер «Ласточка» из Саутгемптона — пиратское судно? — удивился англичанин. — У вас имеются доказательства? Какие именно?

Молчание было ему ответом.

— Экипаж люгера оказал вам сопротивление, синьор Санта-Кроче?

— Д-да, — то есть, собственно говоря, нет...

— Да или нет?

— Нет!

— На люгере были английские подданные?

— Собственно говоря...

— Да или нет?

— Да, были.

Англичанин, повернувшись спиной к адмиралу, крикнул в имевшийся при нем рупор несколько слов, звук которых показался нам голосом с неба:

— Сэр! Эти люди намеревались по-разбойничьи умертвить весь экипаж английского судна.

Стоявший на капитанском мостике английского судна капитан крикнул в ответ:

— Пушкари — к пушкам!

Пушкари с зажженными фитилями стояли у пушек. Оставалось только дать сигнал...

Трудно вообразить ту сумятицу, которая поднялась на борту «Королевы Каролины».

— Но, позвольте! — пытался протестовать адмирал Санта-Кроче, кусая губы. — Что случилось? Почему? На каком основании?

Англичанин вынул свои часы.

— Теперь без пяти минут четыре, — сказал он. — Если ровно в четыре все взятые вами люди не будут освобождены, мы расстреляем ваше судно.

— Но позвольте...

— Законным владельцам люгера должно быть возвращено их

имущество. За нанесенное им оскорбление каждый получит в виде вознаграждения по триста фунтов стерлингов, кроме командира, который получит тысячу фунтов стерлингов.

— Мадонна! Но, позвольте, сэр...

— Кроме того, за оскорбление, нанесенное английскому флагу разбойничьим нападением в открытом море, адмирал Санта-Кроче, явившись невооруженным на борт «Посейдона», принесет капитану Гальдану свои извинения. И, разумеется, люгер будет немедленно возвращен его владельцам. Впрочем, на нем уже поднят английский флаг...

В самом деле, пока велись эти переговоры, другая, часть экипажа с «Посейдона» уже овладела нашим злополучным люгером. Один из матросов без церемоний сорвал неаполитанский флаг, швырнул его в воду и на его место водрузил английский.

В то время, как нас, уже освобожденных от цепей, переводили на борт «Посейдона», — на палубе «Королевы Каролины» показался еще весь мокрый Ворчестер.

Он буквально трясся от ярости и, сверкая единственным уцелевшим глазом, посиневшими губами кричал сипло:

— Собаки! Собаки корсиканца! Проклятие! Проклятие!

Нас всех свели в капитанскую каюту. Вследствие этого обстоятельства я был лишен возможности видеть интересную сцену, как бледный от бешенства и едва державшийся на ногах адмирал Санта-Кроче в парадной форме торжественно приносил свои извинения капитану английского фрегата и отдавал честь английскому флагу.

Полчаса спустя сквозь люки капитанской каюты мы видели, как неаполитанский фрегат поднял паруса и медленно отошел в

сторону. Ей Богу, в нем в этот момент было нечто, удивительно напоминавшее побитую собаку, которая улепetyвает с поджатым хвостом...

И подумать только, что у этих людей в распоряжении было, как-никак, боевое судно, имевшее на борту добрых сто пушек и человек четыреста команды...

И подумать только, что братья этих же людей, такие же итальянцы, на борту «Сан-Дженнаро» умели героически биться на смерть, умели прибить свой флаг к мачте и взорваться...

Когда неаполитанский фрегат отошел на порядочное расстояние, командир «Посейдона», капитан лорд Роберт Гальдан спустился в каюту, в которой мы все ожидали решения своей участи.

— Капитан Джонсон! — обратился он к дяде Саму.

— К вашим услугам, сэр, — отозвался тот.

— Я действую по поручению лорда Голланда!

— Слушаю, сэр!

— Лорд Голланд предупреждал вас, чтобы вы не приводили в исполнение вашего намерения, которое угрожает серьезными неприятностями для Великобритании, капитан Джонсон, но вы предпочли поступать по собственному усмотрению...

— Я свободный человек, сэр! — пробормотал Джонсон нерешительно.

— Даже слишком свободный! — иронически улыбнулся капитан фрегата.

— Если бы я совершенно случайно не заглянул в гавань Сен-Винсента и не узнал бы, по какому направлению ушел неаполитанец, вы сами, капитан Джонсон, и все люди висели бы сейчас на реях неаполитанца.

— Быть может! — сконфуженно пробормотал Джонсон.

— Не быть может, — поправил его Гальдан, — а наверное, сэр! Но спорить об этом мы не будем...

— Не будем! — согласился Джонсон.

— Теперь дальше, сэр. Лорд Голланд поручил мне заявить вам следующее: хотя до сих пор он и был противником ваших планов, но, зная их абсурдность и бесполезность, отказывался смотреть на вашу игру серьезно. Отныне же...

— Отныне, сэр?

— Отныне лорд Голланд предупреждает вас, или вы дадите честное слово, что эту игру вы прекращаете и займетесь собственными делами, или...

— Или, сэр?

— Или, действительно, бы будете объявлены вне закона, и всем судам, имеющим честь плавать под флагом его величества, будет отдан приказ потопить вас при первой встрече.

— А если я дам слово, сэр?

— То вы можете вернуться в Англию беспрепятственно и заниматься, чем угодно.

— Даете время на размышление?

— О, разумеется! Часа вам будет, надеюсь, достаточно.

И лорд Гальдан покинул каюту, оставив Джонсона совещаться с Костером и доктором Мак-Кенна.

Я не принимал никакого участия в этом совещании, и потому предпочел выйти на палубу, чтобы еще раз полюбоваться видом неаполитанского фрегата, на реях которого я чуть не повис в качестве заговорщика и морского пирата.

Против всяких ожиданий, люди фрегата встретили меня чрез-

вычайно радушно. И матросы, и даже офицеры, окружив меня, наперебой угощали меня фруктами и сигарами, и, — не знаю, почему именно, — допытывались у меня, не чувствую ли я головной боли.

Перед закатом мы все перешли на борт люгера.

Фрегат отсалютовал нам флагами, пожелав счастливого пути, и когда на море спустилась ночь, мы видели огни фрегата уже на значительном от нас расстоянии. Мы были свободны...

XVI

Мистер Браун опять на суше, или, вернее, на мели. Знакомство с мистером Питером Смитом и его совет.

Почти полтора года по возвращении в Англию я не думал о заговоре в пользу Наполеона, томившегося на острове Святой Елены.

Признаться, мне было не до того, у меня были собственные заботы.

Вернувшись в Лондон, я узнал, что без меня Минни жилось не так хорошо, как я бы этого желал. Миссис Джонсон, супруга дяди Самуила, забила себе в голову, что для Минни, ее племянницы, подходящим женихом являюсь не я, а мистер Патрик Альсоп, кривоносый и тонконогий ирландец из Дублина, писец Адмиралтейства и большой франт. Альсоп отчаянно ухаживал за Минни, таскал ей билеты в театр, букеты цветов и стишки на голубой или розовой бумаге, а при встрече со мной гримасничал и манерничал, как шимпанзе.

Единственное, что меня несколько успокаивало, это были слова Минни:

— Не бойся, Джонни! — говорила она мне. — Мистера Альсопа я терпеть не могу, и тебя на него ни в коем случае не променяю. Ты, Джонни, только постарайся устроиться где-нибудь на месте, чтобы мы могли жить, ни от кого не завися. За большим я не гонюсь, было бы хоть самое необходимое, я и тем буду довольна.

Наперекор «дракону в юбке», сам дядя Самуил держал мою сторону и уговаривал не бояться за Минни.

Что мешало мне назвать Минни своей женой? Малое и вместе многое: несмотря на все старания, я так и не мог найти более или менее подходящего места или занятия.

Признаться, не раз у меня мелькала мысль завербоваться в качестве инструктора в сипайские полки Ост-Индской Компании и, повенчавшись с Минни, отправиться искать счастья за океаном.

Но Джонсон все время отговаривал меня, твердя:

— Подожди, Джонни. Зачем тебе так торопиться? Загорелось, что ли? Минни от тебя не уйдет, а если ты переждешь еще год, полтора, — все может устроиться, и притом устроиться так блестяще, как ты этого не ожидаешь...

Я подозревал, что он намекает на то же самое «дело», но плохо верил в возможность возобновления нашего предприятия.

Однако события, разыгравшиеся в конце 1819 года, показали, что прав был Джонсон.

Началось с того, что откуда-то снова вынырнул полтора года пропадавший мистер Костер.

В одно прекрасное утро, когда мы с Минни вернулись с про-

гулки по Гайд-Парку, где в тысячный раз обменялись клятвами верности, в салоне «дракона в юбке» мы увидели характерную костлявую фигуру американца. Костер, как всегда, шатался из угла в угол, не выпуская изо рта сигары и, хихикая, потирал красные жилистые руки.

— Хо-хо-хо! — приветствовал он меня. — А вот и дальновидный, догадливый и предусмотрительный Джонни Браун со своей красоткой! Браво, Джонни. У тебя будет великолепная жена!

Несколько дней спустя Костер и Джонсон уехали по каким-то таинственным делам на континент, потом вернулись.

— Ну, что, Джонни? — гримасничая, осведомился Костер. — Ты тут, говорят, пристрастился к катанью по Темзе на ялике? А что, не отпала ли у тебя охота прогуляться по морю?

— Если ненадолго, то я поехал бы! — отозвался я.

— А надолго — нет? О, Джонни, Джонни!

В тот же вечер Джонсон заявил мне:

— Я думаю идти в Испанию. Представляется возможность обделать одно выгодное дельце.

А полторы недели спустя, — это было уже в начале 1820 года — наш старый люгер «Ласточка», с которым у меня было связано столько воспоминаний, вышел в море, имея на борту в качестве капитана мистера Джонсона, а в качестве пассажиров — Костера и меня. Экипаж люгера состоял из двадцати двух человек, все старых знакомцев моих по прежним странствованиям «Ласточки». Двадцать шестым, и, по моему мнению, совершенно лишним человеком на борту люгера был мистер Патрик Альсоп, фаворит миссис Джонсон и мой соперник, кривоносый и тонконогий пи-

сец Адмиралтейства и сочинитель чувствительных стишков в честь Минни. Был на судне и груз: я лично присутствовал при том, как массивные окованные железом бочки и длинные ящики матросы поднимали при помощи шкентелей с набережной и потом бережно спускали в трюм. На бочках и ящиках имелаась надпись: «Сельскохозяйственные орудия. Шеффилд, фабрика Пальдерс и К^о.»

Что это были за орудия и машины, — меня этот вопрос очень мало интересовал. Но немало удивило меня следующее обстоятельство: при спускании в трюм одного ящика, крышка от него отскочила, и в трюм посыпались... кавалерийские пистолеты того самого образца 1805 года, что был введен в употребление императором Наполеоном в дни организации колоссальных сил в лагере при Булони.

Откровенно сказать, зная, что мы идем рейсом на Испанию, где в те годы постоянно шло брожение населения в разных местностях, я думал, что Джонсон взялся за старое свое ремесло, давшее ему всегда хорошие барыши, то есть за контрабанду.

Не очень приветливо встретило нас в эти дни море: еще в Канале буря так потрепала люгер, что едва не выкинула его на французский берег. Еще хуже обошлось оно с нами в Бискайском заливе. По целым неделям мы имели противный ветер и вынуждены были лавировать, чтобы за день продвинуться на какую-нибудь одну морскую милю вперед.

Не знаю, зачем именно, но мы зашли в гавань Сантандера, где и простояли почти месяц, потом совершенно неожиданно снялись с якоря, долго рейсировали, словно поджидая кого-то в открытом море, не дождались и пошли на Гибралтар, а оттуда на Балеар-

ские острова, где и застряли на Майорке, в гавани Пальмы опять на несколько месяцев. Сколько ни наблюдал я, — о контрабанде и речи быть не могло. Явное дело, — Джонсон и Костер снова затевали какую-то авантюру, но выжидали наступления удобного момента, а этот удобный момент все не наступал и не наступал.

В общем, в этих оказавшихся бесцельными и бесплодными скитаниях прошли три четверти 1820 года. Осенью мы снова очутились в Лондоне, и тут разыгралось нечто, предопределившее мою личную судьбу на несколько лет.

Помню, как будто это случилось вчера, или третьего дня.

В один из праздничных дней сентября месяца мистер Джонсон с Костером отлучились по делам: миссис Джонсон отправилась в католическую капеллу, оставив Минни оберегать дом. По нашему уговору, мы с Минни должны были вечером отправиться осматривать только что приехавший в Лондон «американский паноптикум» с большой коллекцией восковых статуй; но уйти из дома мы могли только тогда, когда «дракон в юбке» вернется из своих набожных хождений по часовням. Как нарочно, миссис Джонсон запоздала. Час проходил за часом, в нашем распоряжении оставалось все меньше и меньше времени. Минни нервничала, да и я был, признаться, далеко не в радужном настроении, от души желая, чтобы миссис Джонсон кто-нибудь намял бока.

И, вот, в это время у двери дома Джонсона, кто-то постучался. Отпирать дверь пришлось мне.

— Могу я видеть мистера Джонсона? — обратился ко мне неожиданный гость, меряя меня с головы до ног пронизательным взглядом блестящих черных глаз.

— Если мистера Джонсона нет дома, то не могу ли я обождать

его возвращения, — сказал он, услышав, что Джонсон отсутствует.

В звуках его голоса, несколько хриплого, и в тоже время звучного, было что-то повелительное, нетерпящее возражений, указывавшее, что этот человек привык повелевать.

Я пригласил его подняться наверх, в салон, и там обождать, потому что Джонсон должен был вернуться с минуты на минуту, Пришедший согласился на эту комбинацию и расположился в салоне, как у себя дома.

Это был человек лет около пятидесяти, широкоплечий, черноглазый, бледнолицый, с высоким лбом мыслителя, орлиным носом и большим ртом. Его движения были быстры, порывисты, а улыбка ироническая. Казалось, он не мог оставаться в покое ни единой минуты: бродил по салону, рассматривал литографии, висевшие на стенах и по большей части изображавшие сцены из морской или боевой жизни. На меня он долго не обращал ни малейшего внимания, а к Минни, наоборот, проявил столько внимания, что у меня начали сжиматься кулаки.

Увидев кучу нот на доске клавиесина, он без церемоний уселся за клавиесин и принялся одним пальцем наигрывать одну мелодию за другою, подпевая себе хриплым голосом.

И все время, покуда я наблюдал за ним, я не мог отделаться от мысли, что лицо этого человека мне удивительно знакомо...

Я сказал ему об этом. Он оглядел меня с ног до головы и иронически улыбнулся, показывая здоровые желтые зубы.

— Едва ли, сэр! — вымолвил он чуть насмешливо. Едва ли, едва ли... Не имел этой чести... Вы, ведь, судя по вашим манерам, из военных кругов...

— Да, я долго служил под знаменами его величества! — сухо отозвался я.

— Ну, вот... А я с молодости и до сих пор все свое время посвящаю делам, делам и только делам. Приходится, знаете, бегать, хлопотать, устраивать разные комбинации. Масса конкурентов, сэр. Зазеваешься на несколько минут, и у тебя кусок из рта прямо вырвали.

И он громко захохотал.

Опять его правая рука тыкала пальцем в пожелтевшие клавиши старого клавиесина, отзывавшегося нестройными и жалобными звуками, а его хриплый голос напевал.

— Моя фамилия — Смит, сэр! — неожиданно заявил он, насмешливо подмигивая мне и скаля зубы. — Питер Смит, к вашим услугам, сэр. Старый знакомый, можно сказать, даже друг мистер Джонсона. Хотя... хотя, признаться, бывали периоды, когда мы с Джонсоном волками глядели друг на друга. Ха-ха-ха... Но это уже в прошлом. Теперь мы переживаем период полного, даже трогательного согласия. Начали одинаково смотреть на многие вещи, из-за которых раньше, признаться, жестоко ссорились...

Искоса гость наблюдал за мной. Я это видел. И это меня несколько нервировало.

— А могу ли я узнать ваше имя, сэр? — обратился он ко мне.

Услышав, что меня зовут Джоном Брауном, и что я прихожусь троюродным племянником капитану Джонсону, странный гость хлопнул себя ладонью по лбу.

— Где была моя голова? — спросил он, не знаю кого.

— Это мне неизвестно, сэр! — угрюмо ответил я.

— Bravo, молодой человек! Хорошо сказано! — захохотал он во все свое горло. — У вас острый язык, сэр. Bravo, bravo! Но я еще раз спрашиваю, где была, моя голова?.. Ведь я вас знал. Ей Богу, я о вас много знаю. Ведь вы с отцом вашим были взяты в плен при Ватерлоо. Вас драл за ухо Бони, вам он подарил свою табакерку с шифром и вас же он назвал «упрямым английским бульдогом...» И это вы ударом вашей упрямой головы сломили пару ребер у моего... у моего приятеля, лорда Ворчестера. Позвольте мне пожать вашу руку, сэр.

И он тряс мою руку с такою силой, что рисковал причинить мне вывих.

В это время домой вернулся капитан Джонсон.

Распахнув дверь в салон, он увидел мистера Питера Смита сзади, сделал несколько шагов и тогда очутился лицом к лицу с гостем. Последний живо обернулся. Я в это время случайно глядел на лицо дяди Самуила, и видел, как на этом смуглом лице появилось выражение изумления, граничившего с испугом.

Капитан Джонсон вздрогнул, попятился. Глаза его сделались круглыми, рот был широко раскрыт, руки непроизвольно дергались.

— Ми-ми-ми-милорд... Ва-ва-ва-ваш-ша све-све-свет....

— Тсс... — вырвался странный звук из уст мистера Смита. — Меня зовут мистером Смитом. Мистер Смит, к вашим услугам, сэр.

— Ми-ми-ми... бормотал Джонсон, заикаясь. — Какая честь...

И опять предостерегающий звук, «тсс» вырвался из уст гостя.

— Очень рад возобновить старое знакомство, сэр! — продол-

жал странный гость. — Я пришел к вам переговорить все по тому же делу. Французский товар, сэр... Коммерческая тайна, сэр...

Джонсон, красный, как рак, странно семеня ногами и беспомощно оглядываясь, показал гостю дорогу в свой кабинет. Мы с Минни в полном недоумении глядели друг на друга, не находя объяснения случившемуся.

Подошел Костер. Я стуком в дверь вызвал Джонсона из кабинета, тот, переговорив с гостем, пригласил в кабинет и его. Все трое заперлись в кабинете. Нам в салоне были слышны только глухие звуки их голосов. Голос мистера Смита звучал резко и повелительно, в звуках голосов Джонсона и Костера слышались взволнованные, встревоженные нотки.

Потом все смолкло. Мистер Смит вышел из кабинета, на ходу потрепал розовую щечку Минни, небрежно поклонился мне.

— Рекомендую вам, молодой человек, — сказал он, подмигивая, — рекомендую вам при следующей встрече с Ворчестером, если вы вознамеритесь бодаться, целить ему не в живот, а в лоб.

И исчез раньше, чем я успел ответить.

XVII

Американский паноптикум. Мистер Браун находит в паноптикуме собственное изображение и еще кое-что. Идея Костера. Пять восковых Наполеонов. Опять мистер Смит.

— Джонни! Но ведь это же ты! Как живой!

— Глупости, Минни! — не совсем уверенным тоном ответил я на восклицание, вырвавшееся из уст моей милой невесты.

Кто-то из публики, стоявшей перед помостом, обратил внимание на слова неосторожной Минни. Люди теснее придвинулись к нам, бесцеремонно заглядывали нам в глаза, улыбались. Кто-то похлопал меня по плечу, сказав:

— Сходство поразительное, сэр! Это ваш портрет!

— Убирайтесь к черту! — хотелось мне крикнуть этой толпе. Но я сдержался.

— Джонни! Но это поразительно! — продолжала твердить Минни. — Я бы готова была поклясться, что художник знал тебя лично. Больше, что ты позировал ему, когда он изготавливал эту группу.

— Глупости, Минни! — сконфуженно отвечал я, оглядываясь по сторонам и чувствуя себя крайне неловко: я не привык к тому, чтобы быть центром общего внимания. И еще менее привык к тому, чтобы люди разглядывали меня, как двухголового теленка или пятиногого барана...

Наконец и Минни поняла всю неловкость нашего положения. Покраснев, она потянула меня в сторону. Толпа расступилась, давая нам дорогу, и мы ушли от любопытных взоров, измерявших нас с ног до головы.

Минни скоро успокоилась и принялась с чисто-женским любопытством рассматривать курьезы, составлявшие коллекцию знаменитого «Американского паноптикума мистера Бернсли из Филадельфии».

Но я не мог так скоро прийти в нормальное состояние: из головы не выходила мысль о том, что я только что видел своего двойника, сцену из собственной жизни.

В самом деле, — это было поразительно...

Группа из нескольких десятков фигур, представляла незабвенную для меня сцену с участием императора Наполеона, на полях Ватерлоо.

Перед «Маленьким капралом», одетым в серый походный сюртук и треугольную шляпу, стояли два англичанина — офицер и рядовой в костюмах одиннадцатого линейного стрелкового полка — любимого полка герцога Веллингтона. В офицере каждый без труда узнал бы моего отца, в рядовом — меня.

Я, или правильнее сказать, мой восковой двойник, окруженный французскими солдатами и офицерами, судорожно сжимал в руках полотнище нашего полкового знамени, а какой-то генерал вырывал это знамя у меня. Наполеон, держа в одной руке золотую табакерку, другой щипал меня за ухо, улыбаясь. Вдали мамелюк Рустан держал в поводу белого арабского коня, любимого боевого коня Наполеона.

— Джонни! Гляди! Ведь, это опять он! — и Минни потянула меня в другой угол музея. Там Наполеон был изображен в более поздний и тяжелый период своей жизни: все в том же сером сюртуке, лосинах и ботфортах, с неизменной треуголкой на голове, он стоял на скале, скрестив руки на груди, и смотрел вдаль. На восковом, несколько брюзглом, чуть одутловатом лице было угрюмое и скорбное выражение...

Подпись под этой фигурой поясняла, в чем дело:

— Экс-император Франции, Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены вспоминает дни былой своей славы и тоскует по утерянной короне.

— Похож он? — допытывалась у меня Минни. — Ведь, ты его так близко видел, Джонни.

И опять толпа, стала собираться около нас и с любопытством заглядывала мне в лицо.

Вернувшись домой, мы, конечно, долго обменивались впечатлениями. Против всяких ожиданий больше всех этими разговорами заинтересовался мистер Костер. Он принялся расспрашивать нас обо всех подробностях, потом погрузился в глубокую задумчивость. Курил, дымя, как фабричная труба, тер лоб, тербил нос и седеющую бородку, а потом, поднявшись, сказал громко:

— Джонсон! Это — идея!

— В чем дело? — заинтересовался дядя Самуил.

— Это — идея! — говорю я. — Восковой Наполеон...

— Да в чем же дело? — допытывался Джонсон.

— Вы ужасно тупы, Джонсон, — проворчал Костер, снова принимаясь неистово курить и теревить бородку нервными пальцами.

— Джонсон, — поднялся он. — Я хочу сейчас же посмотреть на этот знаменитый паноптикум Бернсли. Вы можете отправиться со мной?

— Чего ради? Терпеть не могу терять время по пустякам...

— Вы глупы, Джонсон! Я же сказал вам, что это идея. Это очень интересная, заслуживающая, серьезного внимания идея.

Они обменялись многозначительными взглядами, потом Джонсон торопливо оделся, и оба исчезли: отправились в музей.

Как потом я узнал из их обмолвок, попали они в музей, когда тот уже запирался, заплатили фунт стерлингов за то, что дирекция согласилась задержать закрытие на четверть часа, а потом

увезли с собой директора и двух его помощников на всю ночь куда-то за город.

Утром они вернулись со следами бессонной ночи на усталых лицах, переоделись и опять исчезли.

Эти отлучки, имевшие в себе что-то загадочное, продолжались целый месяц. Тем временем «Ласточка» спешно чинилась в сухом доке Саутгемптона: наше суденышко вытянули на берег, поставили на стапеля, заново законопатили все пазы, поставили новый киль и новые мачты. Денег Джонсон не жалел, — буквально швырял их пригоршнями, требуя только одного: чтобы к первому ноября люгер был готов к отплытию. И еще в то время, когда судно стояло на стапелях, в гавань стали прибывать один за другим большие ящики, доски которых были испещрены разнообразнейшими надписями.

Ящики эти с тысячей предосторожностей складывались в особое помещение, снятое Джонсоном и поставленное под мою личную охрану.

Я никогда не страдал пороком, известным под именем любопытства, но именно эти предосторожности заставляли меня поневоле интересоваться содержимым странных ящиков.

Что было там?

Оружие? Нет! В таких больших ящиках могли помещаться целые полевые пушки, а не ружья и пистолеты. Но тогда ящики были бы невероятно тяжелыми.

Может быть, мебель, изделия лондонских мастеров.

Но для мебели выделяются ящики совсем других форм.

Особенно сбивали меня с толку надписи:

— Художественные изделия. Обращаться осторожно.

В одно туманное утро, когда я находился на складе и только что принял еще один привезенный парой могучих ломовых лошадей ящик «художественных изделий», — в наемном экипаже прибыл мистер Питер Смит, который почему-то держался так, словно желал, чтобы никто не мог разглядеть его лица. Для этого он имел на голове низко надвинутую шляпу в форме цилиндра, скрывавшую его голову и лоб до бровей, а нижняя часть его лица от нескромных взоров была прикрыта поднятым воротником пальто модели «Железный Герцог».

Увидев меня, он соскочил на землю со словами:

— Где Джонсон и Костер?

— Не знаю, — ответил я.

— Ах, черт! Мне некогда! Я тороплюсь, а их нет. Покажите мне «художественные изделия».

— Не покажу! — ответил я спокойно.

— Почему? — рассердился и удивился мистер Питер Смит.

— Не имею на то приказаний Джонсона.

Смит посмотрел на меня пылающими глазами. Казалось, он испытывал непреодолимое желание оттолкнуть меня и силой прорваться в то помещение, в котором стояли таинственные ящики. Но, должно быть, на моем лице он прочел выражение решимости не допускать его до этого, хотя бы пришлось прибегнуть к драке.

— Вы удивительно остроумны, мистер Джон Браун, — вымолвил он насмешливо.

— Благодарю за комплимент! — ответил я хладнокровно, не отходя от двери ни на шаг.

Смит топнул ногой, засвистал, засмеялся, отошел в сторону. В

это время на набережной показался мчавшийся во весь опор экипаж, в котором сидели Джонсон и Костер.

— Ваш Браун — настоящий цербер, — обратился к Джонсону мистер Смит. — Предстаньте себе, он не хотел впустить меня.

Джонсон рассыпался в извинениях, чуть не вырвал у меня из рук ключ и отпер дверной замок.

— Пожалуйте, милорд, — сказал он, низко кланаясь.

— Меня зовут мистером Смитом, — поправил его Смит.

Все трое скрылись в сарае, где стояли «художественные изделия». Четверть часа спустя Джонсон крикнул:

— Иди сюда, Джонни. Ты нам должен помочь немного. Только запри дверь за собой.

Я вошел в слабо освещенное помещение сарая и чуть не вскрикнул от удивления. Несколько мгновений я стоял, протирая глаза, не зная, что подумать, мне казалось, что я грежу...

У самого почти входа в сарай я увидел императора Наполеона.

Он сидел в кресле, заложив ногу за ногу, несколько откинувшись на спину, словно в изнеможении, и смотрел перед собою сосредоточенным взором полуприкрытых веками усталых глаз.

— Что это? Что это? — невольно пробормотал я, пятясь.

Дружный хохот трех присутствовавших привел меня в сознание.

— Похоже сделано, мистер цербер? — ткнув меня фамильярно кулаком в бок, спросил меня мистер Смит. — Вы — самый компетентный судья. Ведь, никто из нас не видел «Бони» так близко, как вы...

— А посмотрите еще это. Как это вам понравится?

Он отодвинул в сторону крышку одного ящика, и я увидел в ящичке еще одного Наполеона. Этот сидел и что-то читал.

Мистер Смит прикоснулся к какому-то штифту на кресле, на котором сидел, читая, Наполеон, и Наполеон медленным, словно усталым движением поднял голову, нахмурил орлиные брови, угрюмым взглядом посмотрел на нас и снова, опустив голову, углубился в чтение.

Это был Наполеон номер второй. Но имелся еще Наполеон номер третий. Этот лежал или, вернее сказать, полулежал в кресле с закрытыми глазами и тяжело дышал, словно испуская последний вздох. И, наконец, имелись Наполеоны номер четвертый и номер пятый. Они лежали, вытянувшись во весь рост, — один еще дышал и по временам приоткрывал глаза, беззвучно шевеля почерневшими устами, а другой был неподвижен, лежал, как в гробу, со скрещенными на груди руками. И на этой груди была голубая лента, и целая коллекция крестов, орденов и звезд.

— Что все это значит? — спросил я вполголоса Джонсона. — Или я жестоко ошибаюсь, или... Или вы с Костером и мистром Смитом вздумали...

— Ну? Что мы вздумали? — любопытно спросил, улыбаясь, Костер.

— Вы вздумали обзавестись собственным музеем восковых фигур. И будете возить этот музей, показывая за деньги фигуры императора Наполеона....

Если люди когда-нибудь подвергались риску лопнуть от смеха, — то это были именно те люди, которые стояли тогда передо мной. Костер извивался и хохотал, хватаясь за живот. Джонсон давился смехом. Смит смеялся, взявшись за бока...

А я... я стоял и глядел то на них, то на пятерых восковых Наполеонов, и не знал, — не смеяться ли и мне, или наоборот — приняться колотить всю эту компанию...

XVIII

«Ласточка» привозит пять восковых Наполеонов на остров Святой Елены. Мистер Браун тщетно пытается догадаться, зачем живому Наполеону нужны восковые Наполеоны.

Люгер «Ласточка» со своим странным грузом, состоявшим из восковых фигур Наполеона в разных позах и ящиков с оружием и боевыми припасами, покинул гавань Саутгемптона 14 ноября 1820 года.

Нельзя сказать, что бы плавание наше начиналось при благоприятных предзнаменованиях: при подъеме якорей один из наших матросов сорвался в воду, мы вытащили его полуживым, и он долго отлеживался в матросском кубрике. День спустя, когда люгеру пришлось выдержать жестокую трепку от налетевшего шквала, капитан Джонсон поскользнулся на палубе, и набежавшей на судно волной его едва не смыло в море. Задержался он, вовремя ухватившись за поручни, но отделался недешево — вывихнул правую руку.

Будь с нами наш старый спутник по скитаниям, доктор Мак-Кенна, этот вывих был бы излечен в три или четыре дня. Но хирурга с нами не было, вправлять вывихнутую руку Джонсона взялся Костер. Джонсон не кричал, а рычал и выл от боли и впал в обморочное состояние.

Куда мы шли?

Сначала я думал, что мы опять направляемся к Балеарским островам, но это предположение было ошибочно: люгер пошел по так называемому «большому океанскому пути», пересекая Атлантический океан, и в середине декабря добрался до гавани Нью-Йорка. Только тут я начал кое-что подозревать об истинной цели нашего путешествия, когда в Нью-Йорке на пристани в собравшейся при нашем приближении толпе, я увидел «мадемуазель Бланш» и значительно уже возмужавшего красавца Люсьена.

Увидел я их при помощи подзорной трубы, и, маневрируя ею, не обратил внимания на то обстоятельство, что к борту «Ласточки» приближалась шлюпка с парой гребцов и одним пассажиром. Пассажир этот схватился за висевшую веревочную лестницу и с юношеской легкостью вскарабкался к нам на палубу.

— Наконец-то! — услышал я давно знакомый и милый для меня голос старого и верного друга.

Это был доктор Мак-Кенна.

На ходу пожав мне руку, он снова повторил эти самые слова:

— Наконец-то, Джонсон. Будем надеяться, что на этот раз мы сыграем не впустую.

— Будем надеяться, — откликнулся Джонсон. — Признаться, медикус, я уже оставил всякую надежду. Ведь в прошлом году мы опять спутались с «мадам», но она, как водится, поскупилась, и мы несколько месяцев попусту проболтались в гаванях Гибралтара, на острове Майорка и еще кое-где, дожидаясь прихода нанятого ею для дела датского корвета.

— А он так я не пришел, — засмеялся Мак-Кенна. — Узнаю старую корсиканку. И подумать только, что Наполеон верил ей, как Богу.

— И отдал ей на сохранение добрых двадцать пять миллионов, — откликнулся Костер.

— Но как же устраивается дело теперь? — спросил хирург.

— Подуло другим ветром. Знаете, кто перешел на нашу сторону.

— Император всероссийский, что ли?

— Нет!

— Не король ли французский?

— Нет!

— Не... не лорд ли Ворчестер, наконец?

— Нет, нет и нет. Я вижу, вы не можете догадаться. Ну, так я вам скажу. Только подойдите поближе.

И он, наклонившись, шепнул на ухо доктору какое-то имя. Мак-Кенна буквально отшатнулся и крикнул:

— Но это невозможно! Вы сочиняете, Джонсон! Вы хотите меня уверить, что его светлость...

— Тсс, — предостерег его Джонсон, кладя палец на губы.

— Это так друг медикус, но называть имя данного лица нет надобности.

— Совсем нет надобности! — подтвердил Костер.

— Господи Боже мой! — схватился за голову Мак-Кенна.

— Но если только его свет... Я хотел сказать, если это лицо на нашей стороне, то в успехе нечего сомневаться. Теперь все, решительно все пойдет хорошо.

— Будем надеяться! — хором отозвались Джонсон и Костер.

— Боже, как рада будет «мадемуазель Бланш», — как бы про себя проговорил Мак-Кенна.

— Да, эта женщина остается верной своей первой любви и

своему повелителю, не так, как австриячка...

Мак-Кенна разгуливал по палубе люгера, в волнении размахивая руками и бормоча что-то. До меня долетали только отрывки его слов и фраз:

— Новая эра, новая эра, — твердил он. — Он еще не стар. Ему нет пятидесяти двух лет. Ведь, родился он в 1769 году. Да, да, 15 августа 1769 года. Человек из крепкого племени. Вон, его мать, какая старуха, а крепка и здорова, как дуб. Корсиканцы — одно из самых здоровых и долговечных племен на земле... У него железное здоровье. Он проживет еще лет двадцать пять или тридцать. И теперь он умудрен опытом, он не поддастся соблазну мирового владычества, а ограничится осуществлением возможных задач. Он организует Францию на новых началах, он создаст из нее оплот идей свободы, идей культурной жизни. В тесном союзе с Англией он обеспечит всей Европе возможность спокойно развиваться, избавив ее от гнета реакционных сил, свивших себе гнездо на севере... О, Господи, Господи, какие великие, какие благородные задачи!

— И какой прекрасный заработок для нас с Джонсоном! — вставил Костер.

* *
*

Около недели люгер наш простоял в гавани Нью-Йорка. Джонсон весьма благоразумно отпускал на берег матросов своего судна только по очереди, и то всего на три, четыре часа, ссылаясь на необходимость держать их всегда под рукой: может быть, люгеру понадобится внезапно сняться с якоря и уйти в дальнее плаванье...

Чего, собственно, люгер дождался в Нью-Йорке, я узнал только после: в море мы вышли накануне Рождества 1820 года. И одновременно с нами с якоря снялся красивый американский клипер «Франклин». При выходе из устья Гудзона, клипер прошел так близко от нас, что я мог бы перебросить на его палубу мою носогрейку. И я видел в группе лиц, собравшихся на капитанском мостике, «мадемуазель Бланш» и стоявшего рядом с ней Люсьена, теперь еще больше, чем раньше, походившего на своего отца.

Час за часом по мере удаления от берегов, клипер держался недалеко от нас, то обгоняя нас, то отставая, с тем, чтобы сейчас же снова пройти в непосредственной близости. И все время, пока не стемнело, Джонсон переговаривался с клипером при помощи сигналов флагами, а потом, когда стемнело, фонарями.

Утром, на рассвете, когда я вышел на палубу, клипер был сзади нас на расстоянии не более одной морской мили, и явно держался одного с нами курса. К полудню он настолько отстал, что лишь с трудом и то при помощи зрительной трубы я находил его, но тогда люгер убавил свою парусность, и клипер стал быстро нагонять нас.

Эта игра длилась ровным счетом три недели, до тех пор, пока мы не добрались до острова Фернандо де Норонья, где Джонсон задержался на несколько дней, возобновляя свои припасы и меняя испортившуюся воду. Клипер, шедший под американским флагом, только два дня простоял у берегов Фернандо, а потом, обменявшись с нами какими-то сигналами, смысла которых я не знал, снова ушел в море. Снова увидели мы его значительно южнее, у острова Воздвиженья. Но едва мы с ним встретились,

как снова расстались; на этот раз мы ушли вперед, а он остался.

10 февраля 1821 года, перед вечером, дозорный матрос крикнул с вышки:

— Земля!

Когда сумерки спускались на землю, я видел эту землю уже невооруженным глазом: на юг от нас из лопа моря поднимались несколькими вершинами небольшой скалистый остров.

Утром мы находились на расстоянии не более пяти или шести километров от этого острова. В телескоп я видел голые скалы, долину, или, правильнее сказать, ущелье между ними, поросшее лесом, и различал несколько групп построек, большая часть которых казалась мне хижинами примитивной постройки с плоскими террасообразными крышами.

В это время, когда я смотрел на остров, откуда-то из-за мыса вышел стройный бриг с высокими мачтами под английским флагом и направился к нам. Еще издали он принялся сигнализировать. Мы отвечали ему сигналами же. Подойдя на очень близкое расстояние, бриг спустил шлюпку, которая и подошла к нашему борту. Капитан Джонсон встретил поднявшегося по трапу морского офицера.

— Что за судно? — осведомился тот у Джонсона.

— Люгер «Ласточка», — ответил Джонсон.

— Откуда?

— Из Лондона, с заходом в Нью-Йорк.

— Куда?

— На остров Святой Елены!

— Зачем?

— Имею специальный груз.

— Кто получатель?

— Император Наполеон.

Офицер, производивший допрос, казалось, не поверил своим ушам!

— Что такое? Что вы сказали? — переспросил он. — Кому назначен ваш груз?

— Экс-императору Франции, Наполеону, — поправился Джонсон.

— Разве вам не известно, — начал офицер, — что импе... что Наполеон не имеет права получать грузы.

— Без специального разрешения английского правительства — да. Но я имею это специальное разрешение.

— Покажите бумаги!

— Сейчас!

Джонсон спустился в свою каюту, добыл оттуда пачку каких-то бумаг с печатями, которых я ни разу еще не видел, и молча предъявил эти бумаги офицеру. Тот наскоро проглядел бумаги, пожимая плечами и бормоча.

— Ничего не понимаю! — разобрал я. — Груз для Бонапарта... Не подлежит осмотру...

Потом он вернул бумаги Джонсону и сказал:

— Я должен доложить об этом моему командиру, капитану брига «Артемиза», виконту Дугласу.

— Докладывайте! — пожав плечами, ответил Джонсон.

— До его решения ваше судно не должно заходить в гавань. Иначе...

— Иначе вы нас расстреляете? — иронически улыбнувшись, осведомился Джонсон.

Офицер кивнул головой.

Полчаса спустя вторая шлюпка, подошла к «Ласточке», и на борт к нам поднялся другой офицер. Это был молодой еще человек в костюме морского капитана.

Просмотрев предъявленные ему Джонсоном бумаги, он был изумлен не меньше своего предшественника, и, после некоторого раздумья, дал нам разрешение подойти к острову и бросить якоря, но не высаживаться, покуда не получится специальное разрешение его превосходительства, господина губернатора,

— То есть, сэра Хадсона Лоу! — дополнил Мак-Кенна.

Все время, покуда велись эти разговоры, я стоял на палубе, не веря ни своим глазам ни своим ушам.

Так вот куда заплыли мы! К острову Святой Елены, к тюрьме, в которой с 1815 года томится развенчанный император французов. Так вот для кого предназначается наш странный груз — коллекция восковых фигур, изображающих Наполеона.

Для императора Наполеона! Интересно только, на кой черт, — извините за выражение, — бедняге Наполеону могут понадобиться эти куклы? Не впал ли он в детство. Не стал ли он интересоваться игрушками.

XIX

Знакомство с мистером Хадсоном Лоу. Мистер Джон Браун возобновляет старое знакомство с императором Наполеоном, делая визит в Лонгвуд. Матросская складчина.

Не могу сказать, сколько официальных визитов было сделано властями острова Святой Елены в течение этого дня на борт

«Ласточки». К нам приезжали и офицеры, и разные чиновники. Джонсон предъявлял им судовые бумаги. Проглядев документы, эти люди пожимали плечами, переговаривались, потом съезжали на берег, а на смену им приезжали другие.

Были попытки выпросить у матросов, что за груз для императора Наполеона привезен «Ласточкой», — но наши матросы отлично заучили данные им Джонсоном инструкции, и городили такую чушь, что у слушателей, как говорится, уши вяли.

К полудню на борт «Ласточки» пожаловал собственной персоной знаменитый «тюремщик Наполеона», комиссар Хадсон Лоу, высокий тучный старик с каменным лицом и оловянными глазами.

Не обращая внимания на предъявленные ему Джонсоном бумаги, он потребовал, чтобы Джонсон предъявил ему на просмотр все вещи, предназначенные для Наполеона. Джонсон наотрез отказал, заявив, что скорее выбросит груз в море, чем согласится нарушить полученные инструкции. А инструкции гласили: «груз, не распаковывая, сдать Наполеону». Следовательно...

Покричав, Хадсон Лоу перешел к ворчанию. Наворчавшись вдоволь, махнул рукой и сказал:

— Делайте, что хотите. Всегда вот так! Комиссар несет ответственность за все, а другие распоряжаются по своему усмотрению... Затем, обернувшись к Джонсону, он сердито вымолвил:

— Ну, можете свозить ваш проклятый груз на землю. Можете спускать команду, но только не входить в личные сношения с Бонапартом ни в коем случае. То есть, кроме тех случаев, когда это будет необходимо для сдачи ему нашего груза. Поняли?

— Понял! — ответил Джонсон, поворачиваясь спиной к церберу и закладывая руки в карман.

В те дни настоящей пристани на острове Святой Елены еще не было. Роль ее исполнял деревянный помост на сваях. Но там, где стоял этот помост, было слишком мелко, и мало-мальски глубоко сидящие суда не могли подходить к помосту. Обыкновенно, такие суда, останавливались на рейде, в полукилометре от берега и бросали якоря. К их борту подходили барки и принимали груз.

Джонсон отказался воспользоваться помощью береговых барок, и вся выгрузка была произведена собственными средствами: просто, мы спустили две шлюпки, наши матросы вытащили дюжину ящиков, предназначенных Наполеону, и на таях спустили ящики на шлюпки. На берегу дожидались неуклюжие двухколесные телеги с упряжкой из коротконогих волов в пестрой сбруе с украшениями из грубого стекла, зеркалец и бубенчиков. Наши матросы с «Ласточки» наблюдали за погрузкой ящиков на тележки, а затем конвоировали экипажи вплоть до Лонгвуда. Командовать этим транспортом доверено было мне.

И, вот, мы добрались до Лонгвуда. По пути, разумеется, наше шествие привлекало общее внимание. Из домов выбегали немногочисленные жители; солдаты 54 пехотного полка, стоявшего на острове гарнизоном, покинули свои казармы и группами стояли на дороге, глаза на нас. Офицеры, как всегда, щеголеватые и высокомерные, прогуливались, как бы случайно, по дороге.

Не один раз из групп, наблюдавших, как мы двигались по пути к Лонгвуду, до нас долетали слова, выражавшие симпатии пленному императору:

— Бедняга Бони!

Уже неподалеку от резиденции Бонапарта из бедного домика выскочила девчурка лет пяти, голубоглазая и светловолосая, с загорелым личиком. Она держала в ручонке растрепанный пучок каких-то цветов.

Юркнув, как змейка, она сунула свои цветы мне, прошептав:

— Для бедного Бони, который так скучает...

И, вот, мы стояли уже перед Лонгвудом, перед убогой фермой, в которой осужден был проводить последние годы своей бурной жизни повелитель полмира, величайший воитель всех времен и народов...

Что такое Лонгвуд?

Мне потом многократно приходилось читать описание этого жилища Наполеона, но не помню, чтобы эти описания производили на меня хоть десятую долю впечатления, испытанного в те часы, когда я стоял у дверей приземистого домика Наполеона.

Усадьба, раньше принадлежавшая какому-то торговцу, находилась в самой неудобной и унылой местности.

Дышалось здесь всегда тяжело: воздух был насыщен какими-то ядовитыми испарениями. В самом деле, как я узнал потом, только злой враг Наполеона мог выбрать для него это обиталище.

Зимой здесь в течение почти восьми месяцев царила неимоверная сырость. Едва проходил период зимних дождей, начиналась жара. Усадьба помещалась в котловине среди скал, словно в раскаленной печи. Раскалялась почва, зноем несло от стоящих стеною скал, от угрюмых стен дома, от деревьев, от всего окружающего.

Обстановка жилища Наполеона — я видел всю эту обстановку — не отличалась роскошью. Единственным украшением служили

большие, и, правда, великолепно исполненные портреты первой супруги Наполеона, императрицы Жозефины, пышной красавицы, креолки, потом второй его супруги, голубоглазой «австриячки» Марии Луизы, отрекшейся от венценосного мужа и, как известно, не постыдившейся связать свою судьбу с каким-то австрийским бароном, бездарным и надутым офицериком из придворной челяди.

Почетное место занимал третий портрет. На нем изображен был светловолосый и голубоглазый мальчуган лет шести, в чертах лица которого читалось явное сходство и с Марией Луизой, и с самим Наполеоном. Это был «король Римский», — сын Наполеона и «австриячки». Впрочем, тогда уже никто и не заикался об его титуле короля Римского: официально его называли герцогом Рейхштадским. Этот титул он получил, как милость, от дедушки, императора Австрии, мстительного врага Наполеона.

Дюжины две грубых деревянных стульев, несколько таких же кресел и столов, несколько шкафов для книг и для посуды, да еще складная железная кровать, — вот и вся домашняя обстановка того, кто знал безумную роскошь Тюильри и Мальмезона...

Впрочем, складную кровать свою Наполеон не променял бы ни на какую другую, будь эта другая из чистого золота: это была походная койка, на которой он спал в ночь, предшествовавшую великому бою при Аустерлице...

При приближении нашего транспорта к Лонгвуду, из дома вышла какая-то скромно одетая дама средних лет. Потом я узнал, что это была мадам де-Монтолон, супруга генерала Монтолон, верного адъютанта Наполеона. Узнав, в чем дело, она скрылась. Пошла позвать кого-то. И этот кто-то вышел.

Это был пожилой человек в широкополой соломенной шляпе с высокой конической тульей. Одет он был в широчайшие белые панталоны и такой же жакет из довольно грубой материи, кажется бумажейной. На ногах у него были стоптанные туфли. Жилета не имелось. Рубашка из вылинявшего ситца облекала его тучный торс. Ворот жал толстую шею, и потому оставался не застегнутым. Благодаря этому видна была не только вся шея, но и часть груди, покрытой крупными, черными, редкими волосами.

Должно быть, человек этот был выбрит дня два или три тому назад: на одутловатых болезненно-бледных щеках ясно виднелась пробивающаяся щетина иссиня-черных волос.

Если бы не эти глаза, — глаза сокола, или орла, — я бы не узнал, кто это, хотя его образ врезался мне неизгладимо в память в день битвы при Ватерлоо...

А он... Он узнал меня с первого же взгляда.

Как тогда, при Ватерлоо, он подошел ко мне, улыбнулся, пухлыми пальцами схватил меня за ухо и больно ущипнул, потом щелкнул меня по лбу и сказал:

— Помню! Английский бульдог! Одиннадцатого линейного стрелкового полка! Ватерлоо! Полк был уничтожен атакой кирасир Келлермана. Двух бульдогов взяли в плен. Один был офицер в чине лейтенанта.

— Это был мой отец, — пробормотал я.

— Другой был рядовой солдат! И он, дурак, прятал свое полковое знамя за пазухой...

— Это был я! — еще более глухо пробормотал я.

— Я подарил тебе свою золотую табакерку! Помнишь?

Вместо ответа я схватил руку, снова тянувшуюся к моему уху,

и поцеловал ее. Да, поцеловал. И не стыжусь признаться в этом. Ведь это была рука не простого смертного, а полубога. Рука героя, водившего легионы по полям всей Европы. Это была рука Наполеона Великого.

И его странно прозрачные глаза неуловимого цвета, то казавшиеся почти черными, то чуть ли не голубыми, кажется, сделались на миг влажными, а толстые, припухшие веки как будто еще отяжелели и задрожали.

— Не надо плакать, — произнес он глухим голосом. — Такова судьба... Никто не виноват... И... и, может быть, все еще изменится, все еще поправится...

Наши матросы с жадным любопытством глядели издали на эту сцену. Заговорить они не смели. Только переглядывались.

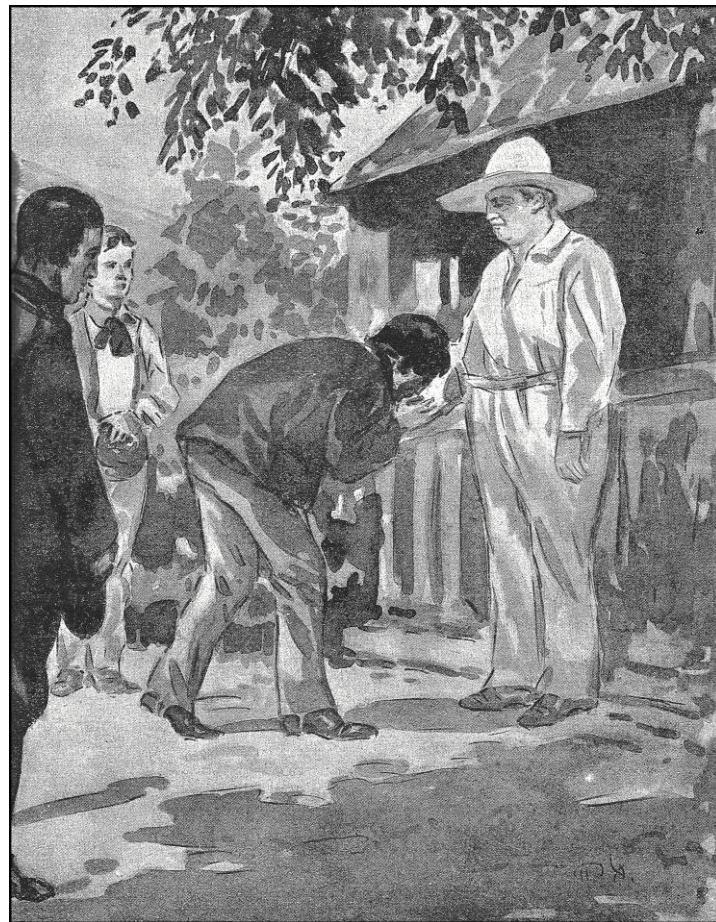
И потом один из них, — это был боцман Гарри, кутила, пьяница и забияка, сделал шаг вперед, дернул меня за рукав и хриплым голосом сказал, показывая черным пальцем в сторону Наполеона:

— Это Бони? Ну, так скажите ему, Браун, что мы, матросы с «Ласточки» обо всем этом думаем.

Гарри обвел широким жестом, показывая на голые скалы Святой Елены, на приземистые постройки Лонгвуда и на грубый костюм самого Наполеона.

— Скажите ему, Браун, что это все — чистое свинство! Да! И что честная матросня такого хамства никогда не сделала бы. Да! На это способны только мелкие душонки сухопутных крыс, штафирки! Вот что... А мы, матросы, тут не при чем. И если бы от нас зависело, мы бы этого свинства не позволили! Вот что.

Подумав немного, Гарри продолжал свою речь:



Вместо ответа я схватил руку, снова тянущуюся к моему уху, и поцеловал ее.

— И еще спросите вы Бони, Браун: может, штафирки ему и табаку не дают. Ну, так вот что... Ребята! Выворачивай карманы! Поделимся с Бони табачком, если не можем поделиться ничем другим.

Как ни привык к самообладанию Наполеон, но и он не выдержал. Махнув рукой и как-то сразу сторбившись, он побрел в дом. Полными слез глазами смотрел я ему вслед. А Гарри ожесточенно почесывал затылок и свирепо ругал «проклятых штафирок»...

XX

О том, как Хадсон издевался над m-elle Бланш, а люгер «Ласточка» уходил в Капштадт и вернулся. Наполеон умирает. Опять одноглазый Ворчестер.

На третий или четвертый день нашей стоянки у берегов острова Святой Елены с моря показалось шедшее к острову парусное судно. Часа через два оно приблизилось настолько, что при помощи подзорных труб мы могли определить без ошибки: это шел американский клипер «Франклин». Тот самый «Франклин», с которым мы расстались у острова Воздвижения; тот самый «Франклин», на борту которого находилась «мадемуазель Бланш» и Люсьен, сын императора Наполеона.

С клипером повторилась та же знакомая нам процедура: навстречу ему вышло военное судно «Гефест» под флагом губернатора острова, то есть того же Хадсона Лоу, осведомляться чего ради «Франклин» зашел в эти воды. Переговоры закончились тем, что клиперу было разрешено стать на рейде рядом с нами, а его пассажирам и его команде — сходить на берег, но только ни в

кчем случае не входить в личные или письменные сношения с Лонгвудом и его обитателями.

Тщетно бедная женщина умоляла тюремщика смириться над нею и допустить ее в Лонгвуд хотя бы под строжайшим надзором полицейских чиновников. Тщетно она рыдала, ломая руки.

Единственное, чего «мадемуазель Бланш» добила, — это было разрешение в определенные часы прогуливаться в одном месте, откуда Лонгвуд был виден. Но и тут Хадсон Лоу проявил всю тупую и злобную жестокость, отличавшую этого человека: для прогулок Бланш и Люсьена он назначил именно те часы, когда Наполеон отдыхал после обеда. Царственный пленник должен был отказывать себе в отдыхе, столь необходимом в этом ужасном климате, лишь бы на расстоянии чуть ли не километра увидеть любившую его женщину и сына.

Закончив выгрузку привезенных нами для Наполеона ящиков, мы не имели уже предлогов для того, чтобы оставаться на острове Святой Елены. Но Джонсон стал производить будто бы необходимые починки, и мы получили разрешение задержаться еще на полторы или две недели.

Каждый день Джонсон и Костер с утра покидали люгер и возвращались только поздно ночью, а доктор Мак-Кенна, тот на берегу даже ночевал. Зачастую по ночам какие-то люди подплывали на лодках к борту «Ласточки». На моей обязанности было держать ночную вахту, и потому именно мне приходилось принимать этих таинственных ночных посетителей. В огромном большинстве они появлялись в широких плащах, с закутанными лицами, так что сам черт не мог бы узнать их днем, при встрече

на берегу. Но иные приезжали столько раз, что я научился узнавать их на суше. К моему удивлению, это были крупные и мелкие чиновники, плантаторы, коммерсанты и даже некоторые офицеры 54 полка, гарнизона острова Святой Елены.

Два раза, когда некоторые из этих ночных посетителей о чем-то совещались с Костером и Джонсоном, запершись в капитанской каюте, от борта стоявшего на рейде клипера беззвучно отчаливала гичка, подходила к нам, словно крадучись, и давала знать о своем прибытии легким свистом или скорее шипением. И тогда, по фальрепу на борт к нам поднималась тонкая, стройная женская фигура в темном плаще, а следом вбегал проворно юноша. Это были «мадемуазель Бланш» и Люсьен, сын императора. Они проходили в капитанскую каюту, запирались там с ночными посетителями, и потом до меня долетали звуки женского голоса, звон золота и шелест бумаги. Незадолго до рассвета и ночные гости покидали борт «Ласточки», и когда всплывало солнце, наш люгер покачивался на пологой волне сонно и лениво, как будто ночью на нем не кипела странная, полная загадок и тревоги жизнь.

Потом, не знаю, в силу каких соображений, капитан Джонсон отдал приказ к отплытию. Мы ушли к мысу Доброй Надежды. Ни Костера ни доктора Мак-Кенна с нами не было: они остались на острове Святой Елены. Не буду описывать всех происшествий этого плавания: ничего особенного с нами не случилось. Благополучно дошли мы до Капштадта, там запаслись провизией и свежей водой, дождались прихода туда еще одного американского судна, встреча с которым была, по-видимому, обусловлена заранее. Это тоже был клипер, «Вашингтон» по имени, — такой же стройный и такой же быстроходный, как «Франклин». Клипер

привез какие-то новости, явно встревожившие Джонсона. В чем было дело, дядя Сам мне не сказал, но как-то раза два или три в моем присутствии с его уст срывались проклятия по адресу какого-то «одноглазого полоумного лорда», который тратит груды золота на то, чтобы «добить полумертвого»...

В тот же день «Ласточка» подняла якоря и помчалась в обратный путь, к острову Святой Елены.

15 апреля 1821 года мы снова стояли на рейде у берегов острова. И первое известие, которое мы получили, было, что за последнее время здоровье Наполеона значительно ухудшилось, и что он почти перестал выходить из дому.

Хадсон Лоу не умел скрыть своей злой радости, и всем и каждому говорил:

— Корсиканский кровопийца скоро отправится на тот свет.

Нам, людям экипажа «Ласточки», разрешалось изредка сходить на берег, и там мы вступали в общение с береговыми обитателями. Должен удостоверить, что все население острова, особенно рыбаки двух тамошних поселков, солдаты 54 полка и матросы охранявших остров военных судов, — все говорили о болезни «Бони» не иначе, как с сожалением и сочувствием. Открыто обвиняли Хадсона Лоу в том, что, если император умрет, то он, Хадсон, будет повинен в преждевременной кончине Бонапарта. Это он, Хадсон Лоу, выбрал Лонгвуд для жилища павшего цезаря. Это он лишил Наполеона малейших удобств. Это он воспрепятствовал Наполеону навещать казармы и лагерь 54 полка, как будто Наполеон мог соблазнить целый английский полк и заставить его перейти на свою сторону. У великого воителя по злобному, ту-пому капризу его тюремщика была отнята даже возможность го-

ворить с солдатами, развлекаться наблюдением над их ученьем...

Это он, Хадсон Лоу, буквально выжил с острова тех немногих оставшихся верными Наполеону людей, которые последовали за экс-императором Франции в страну изгнания и своим присутствием облегчали его участь. Доктора Мэара он не только выжил, но выслал, лишив больного цезаря необходимой ему врачебной помощи. Выслал графа Лас-Казаса, выслал генерала Гурго, преданного Наполеону до самозабвения. Оставил только генерала де-Монтолона с супругой и маршала Бертрана, но грозил выслать и их...

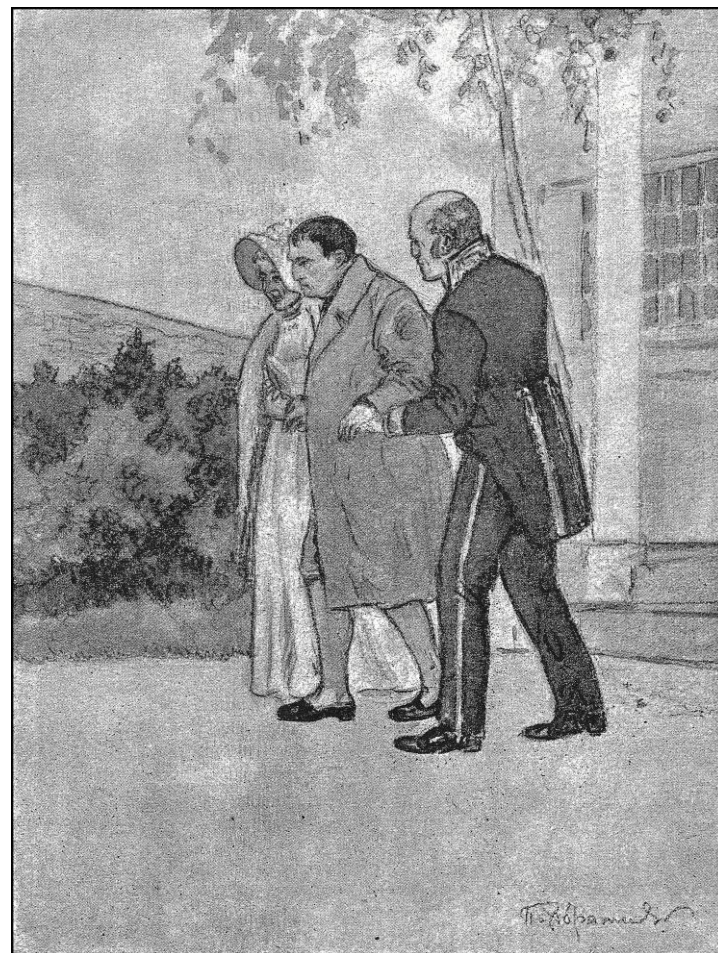
Это он, Хадсон Лоу, по целым месяцам, под предлогом необходимости просмотра, задерживал присланные Наполеону книги, отнимая у него и это невинное утешение...

О, Господи! Да разве перечислишь все, что изобретал отравленный злобой мозг «палача Наполеона»...

Но теперь Хадсон Лоу мог ликовать: дни Наполеона явно шли к концу. Об этом знал, об этом говорил весь остров.

Маленькая голубоглазая девочка, дочь таможенного чиновника, — та самая, которая когда-то сунула мне в руку пучок запыленных, жалких цветов «для бедненького Бони», — при встрече со мной улыбалась так печально, что у меня на глазах навертывались слезы, и я почему-то вспоминал оставшуюся на родине, там, в далеком туманном Лондоне, мою милую Минни, такую же голубоглазую и светловолосую...

В Лонгвуд нас, конечно, не пускали: вообще туда доступ имели лишь немногие, исключительно люди, облеченные полным доверием Хадсона Лоу, — проще сказать, шпионы, следившие за каждым шагом Наполеона.



Его вывели из дому в сад под руки мадам де-Монтолон и ее муж.

Но несколько раз мне все же удалось увидеть Бонапарта, правда, на таком расстоянии, что если бы я крикнул во всю силу моих легких, а легкие у меня, слава Богу, крепкие, — так и то Бонапарт не услышал бы моего приветствия.

Видел я его в зрительную трубу.

Его вывели из дому в сад под руки мадам де-Монтолон и ее муж. Он шел, еле передвигая ноги. Дошел до какого-то холмика, там остановился. Стоял и смотрел, понурившись, вдаль, а генерал Монтолон и его жена поддерживали больного цезаря с двух сторон, а потом опять увели его в дом.

В другой раз со своего наблюдательного пункта я видел, как генерал Монтолон катил по дорожке сада кресло, а в кресле сидел Наполеон. То есть, не сидел, а полулежал, словно в изнеможении.

И как раз в то время, когда я наблюдал эту картину, — кто-то хлопнул меня по плечу и гнусавым голосом произнес над ухом:

— Корсиканская собака издыхает!

Я обернулся и увидел человека, при одной мысли о котором мне в лицо бросилась вся кровь: это был одноглазый Ворчестер, оскорбитель трупа маршала Нея.

Невольнo я сжал кулаки и готов был ринуться на него. Но он скакал по пыльной дороге на кровном коне, вместе с группой разряженных офицеров гарнизона. Издали он крикнул мне:

— Бонапарт издыхает! Издыхает, издыхает!

Я погрозил ему кулаком, он зло рассмеялся.

— Идиот! — крикнул он. — Идиот! Такой же, как и другие, мечтавшие выпустить бешеную корсиканскую собаку на свободу. Освободить кровожадного пса! Идиоты, идиоты! Но я вам испор-

тил всю игру! Слышишь ты, олух? Я, именно я, испортил вам игру! И вы не получите даже трупа корсиканской собаки!

Бешенство овладело мной. Я вскрикнул и бросился вслед за Ворчестером, но сейчас же остановился: он был далеко...

Разумеется, я передал дяде обо всех подробностях встречи с Ворчестером. И меня удивило проявленное им отношение.

— Дурак! — сказал он равнодушно.

XXI

О том, как будто бы, в первых числах мая месяца 1821 г. на острове Святой Елены умирал император Наполеон.

Стоит развернуть любую биографию, — официальную биографию Наполеона, — и там найдется более или менее подробный рассказ о последних днях Наполеона.

Чувствуя себя слабым, Наполеон призвал аббата Виньяли, присланного на остров Святой Елены кардиналом Фешем, дальним родственником Бонапарта. Говорят, впрочем, что Феш был родным дядей Наполеона.

У Виньяли он исповедался и причастился. После причастия он сказал генералу де-Монтолон:

— Я счастлив, что исполнил свой долг. Желаю и вам, генерал, когда придет ваш смертный час, чтобы и вам далось это счастье. Я хочу восхвалить имя Господа. Прикажите, чтобы в соседней комнате поставили алтарь, на котором поместятся Святые Дары. Я сомневаюсь в том, чтобы Господу Богу угодно было снова вернуть мне здоровье, но я хочу молить Его об этом.

Потом он добавил:

— Однако почему же я должен взваливать на вас ответственность за это? Пожалуй, станут говорить, что это вы заставили меня, вашего начальника, подчиняться вашей воле в этом отношении. Нет, не нужно! Я сам распоряжусь...

Некоторое время спустя он написал свое знаменитое духовное завещание, текст которого начинается заявлением:

«Я умираю в лоне католической церкви, вселенской и апостольской, в лоне религии, в которой я был рожден и оставался больше пятидесяти лет.

Я завещаю, чтобы мой прах нашел себе место упокоения на берегах Сены, чтобы он лежал в земле французов, того народа, который я так любил...»

В разговоре, записанном тем же генералом Монтолоном, Наполеон высказал своеобразную радость:

— Моя смерть, — сказал он, — избавит всех вас, мои верные слуги, от дальнейших бедствий. Вы вернетесь в Европу, к своим родным. Я же отправлюсь туда, где я увижу моих храбрых солдат, погибших в боях. Да, да! Там выйдут мне навстречу тени Клебера, Десэ, Бессье, Дюрока, Нея, Мюрата, Массэны, Бертье... Там, в Стране Теней, я буду разговаривать о войнах с героями былых времен, со Сципионом, Цезарем, Ганнибалом, с Фридрихом Великим...

В один из последних дней апреля 1821 года по острову Эльба распространился слух, что Наполеон умирает. Толпы любопытных издали глядели на Лонгвуд. Где только было возможно, люди глядели в бинокли и зрительные трубы. Я был в числе этих любопытных, и мне в зрительную трубу удалось найти то окно, у которого всегда сидел, читая, Наполеон. И я увидел *его*...

Большой сидел, действительно, у окна, в глубоком кресле. Он читал какую-то книгу, — по словам Монтолона — Библию. Изредка отрывался от чтения, откидывался, взглядывал в окно, потом снова погружался в чтение.

На другой день происходило то же самое. Потом мы наблюдали его и видели уже не сидящим, а лежащим на походной кровати, на той кровати, на которой он спал в ночь перед Аустерлицем.

Первого мая 1821 года Наполеон хотел встать с кровати, — так говорит в своих записках генерал Монтолон, — но с ним сделался обморок. Очнувшись от этого обморока, он сказал:

— Мне осталось жить всего четыре дня.

Пятого мая над островом Святой Елены разразился ураган, который произвел опустошения в посадках, сделанных Наполеоном вокруг Лонгвуда. В самый разгар урагана к Наполеону приблизилась страшная гостья — смерть.

Он заметался на своем смертном ложе и в полубреду произнес несколько слов:

— Мое дитя... Франция... Моя армия...

Это были его последние слова: он испустил дух.

Узнав о смерти Наполеона, 54 полк чуть не взбунтовался: солдаты хотели видеть прах героя и отдать ему последние почести. Стража, стоявшая пикетами вокруг Лонгвуда, не могла выдержать натиска солдат, — своих же товарищей, — и весь полк продефилировал перед Лонгвудом, отдавая честь праху почившего императора.

Хадсон Лоу взбесился, и пытался, как он выразился, «прекратить это безобразие». Но полковой командир, старый солдат,

участвовавший не в одном бою против Наполеона, ответил «господину комиссару»:

— Вы были присланы сюда сторожить Наполеона. Покуда он был жив, вы были его тюремщиком. Теперь Наполеон мертв, — и вашим полномочиям пришел конец. И теперь вы уже не имеете права отдавать какие бы то ни было распоряженья, моим солдатам. Полк желает пройти перед Лонгвудом. Это вас не касается...

Хадсона едва не хватил удар!

Тело Наполеона было выставлено в большой комнате Лонгвуда. Почивший лежал на длинном столе, прикрытый походным плащом.

Солдаты 54 полка, подошедшие в полном составе к Лонгвуду, то поодиночке, то маленькими группами входили в дом и дефилировали мимо трупа, обнажив голову. Большинство становилось на колени. Многие целовали край плаща, прикрывавшего тело императора.

Тоже совершалось в течение двух последовавших дней, то есть 6 и 7 мая.

7 мая прежняя строгая охрана Лонгвуда уже почти не существовала. Так или иначе, но туда могли проникать уже и частные лица.

Само здание, где лежало тело Наполеона, никто не охранял. По просьбе генерала Монтолона, Джонсон послал туда отряд из пяти матросов «Ласточки» под моим начальством, и они образовали своеобразную почетную стражу у смертного ложа императора.

Под вечер в Лонгвуд явился с толпой молодых офицеров од-

ноглазый Ворчестер. Он пришел посмотреть на труп того, кого преследовал столько лет своей неумолимой ненавистью, и, быть может, оскорбить прах императора, как в 1815 году оскорбил прах его любимого маршала.

Я заподозрил это с того момента, как фигура Ворчестера показалась в дверях фермы, и принял свои меры.

Офицеры держали себя серьезно, глядели на прозрачное, словно восковое лицо императора, вполголоса обмениваясь замечаниями, но не допускали ни малейшей вольности. Я заметил на глазах у одного из них предательскую влажность. Но Ворчестер...

Он казался мне пьяным, или помешанным.

Шатаясь, странными, неверными шагами, пригнувшись, как кошка, он подошел к трупу, злорадно улыбаясь.

— Что вы делаете, Ворчестер? Ради Бога! — послышался предостерегающий крик того самого офицера, на глазах у которого я видел слезы.

Ворчестер выхватил хлыст, который был спрятан у него в рукаве, и взмахнул им. Хлыст со свистом рассек воздух и опустился...

Но не на мертвенно спокойное лицо императора, как того хотел Ворчестер, а на мою голову: я вовремя загородил собой прах императора и получил тот удар, который предназначался ему, Наполеону.

Ударить второй раз Ворчестеру не удалось: я исполнил тот совет, который когда-то получил от мистера Питера Смита.

— Если вы, Браун, — сказал мне тогда Смит, — вздумаете в

другой раз бодаться с Ворчестером, — цельте выше.

И я «целил выше».

Мой лоб ударился во что-то мягкое. Что-то хрустнуло. И Ворчестер с воем упал на руки подбежавших офицеров. Все его лицо было в крови, лившейся из раздробленного носа и изо рта. И он выплевывал вместе с кровью выбитые моей головой зубы...

Мои матросы подбежали, готовясь оказать мне помощь, если бы английские офицеры вздумали вступить за лорда Ворчестера. Но им это и в голову не приходило: они негодовали на Ворчестера не меньше нас. Они осыпали его упреками. Тот самый молодой офицер, который плакал, кричал:

— Я вызываю вас! Вы будете драться со мной, милорд!

Другой тащил Ворчестера на кухню, чтобы обмыть его окровавленное лицо и обложить компрессами.

Комната наполнилась народом.

По официальным документам, — 8 мая было произведено вскрытие трупа, определившее причину смерти императора: рак в печени. Того же числа труп был набальзамирован и помещен в гроб, а 9 мая — произведены похороны.

Мистер Хадсон Лоу показал, как мало такта у него было: он в трауре явился на похороны. Рядом с ним была его супруга, леди Лоу, и тоже — в глубоком трауре.

Недоставало только, чтобы к могиле Наполеона в трауре явился с разбитым носом лорд Ворчестер.

Когда гроб Наполеона опустили в могилу, со стоявших на рейде английских судов и береговых батарей произведен был пушечный залп.

Этот залп должен был разнести по миру весть о том, что императора Наполеона уже нет в живых.

Но это было ложью.

Он был жив.

Он был свободен.





Часть вторая

I

На сцене появляются: шевалье Дерикур, парикмахер, мисс Джессика Куннингем и воскресший Наполеон.

Мое столкновение с лордом Ворчестером произошло под вечер 7 мая. На ночь я отправился на борт «Ласточки», чтобы, проспав с восьми до двенадцати, в полночь стать на вахту.

И вот, когда я стоял на вахте, весь погруженный в думы о смерти императора Наполеона, из мглы вынырнула шляпка, беззвучно приблизившаяся к нашему судну, и до моего слуха донесся условный знак — переливчатый свист, извещавший о прибытии таинственных ночных гостей. По спущенному трапу поднялись Костер и доктор Мак-Кенна, и с ними кто-то третий. Этот третий был стройный и подвижный молодой человек, который на палубе судна чувствовал себя как дома, хохотал, свистел, заглядывал во все углы.

Увидев меня, он спросил у Костера, кто я такой, потом подошел ко мне со словами:

— Позвольте представиться, товарищ! Меня зовут Дерикур. Шевалье Дерикур, к вашим услугам. Из славного города Тараскона. Уф, как я рад, что вся эта история, наконец, окончилась благополучно! Столько месяцев мне пришлось разыгрывать комедию и изображать итальянца. Я, солдат Великой Армии, я, спавший на пуховиках московских бояр в занятой Москве, я, едва не взявший в плен австрийского императора при Ваграме — я должен был жить в этой проклятой дыре три года, разыгрывая

роль... Нет, как это вам понравится? Шевалье Дерикур, кавалер ордена Почетного Легиона, тарасконский дворянин, в роли камердинера и брадобрея какого-то комиссариатского чиновника?! Но когда речь шла о том, чтобы спасти из плена моего императора... Вашу руку, товарищ! Мы, черт возьми, еще повоюем! Мы еще покажем миру, что значит Франция!

И он снова заметался по палубе, потом исчез куда-то.

Покуда шли эти объяснения, к левому борту «Ласточки» беззвучно причалила третья шлюпка. Еще раз послышался условный свист. Костер вздрогнул и, оттолкнув в сторону мисс Куннингем, прибывшую на второй шлюпке, бросился к фалрепу.

По веревочной лестнице на палубу поднимался среднего роста человек в костюме рыбака. Ночь была темная, палубу освещал слабый и неверный свет фонаря на грот-мачте. Ни лица ни даже фигуры новоприбывшего разглядеть было невозможно, но сердце мое почему-то екнуло. Что-то знакомое почудилось мне.

Тучный, коротконогий, широкоплечий и немного сутуловатый человек, тяжело дыша, поднялся на палубу, и сейчас же заложил руки за спину.

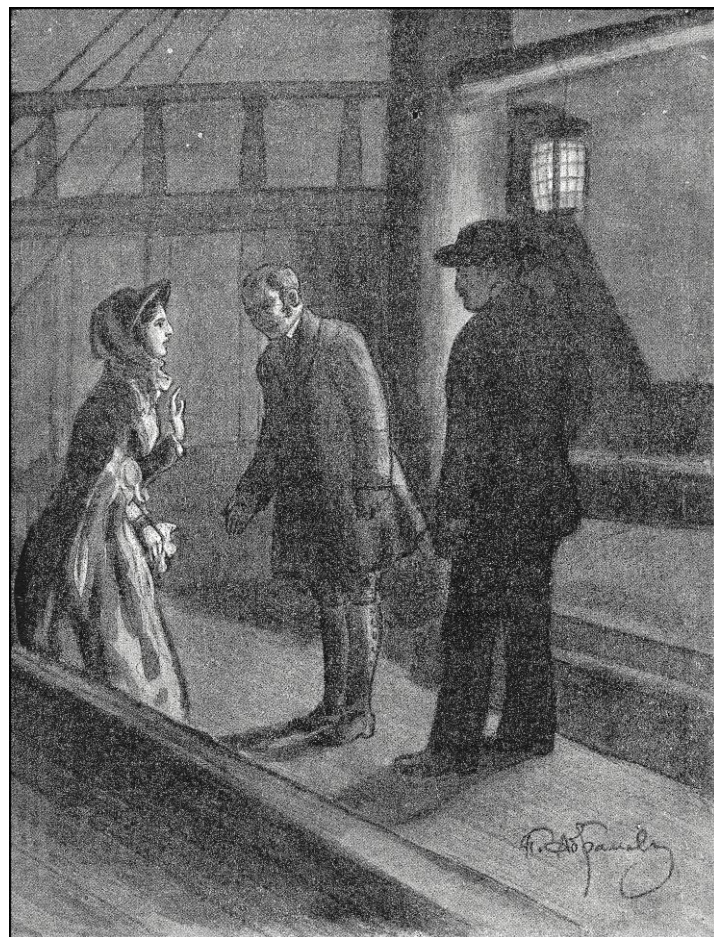
Еще раз екнуло мое сердце.

Мисс Куннингем, увидев новоприбывшего, радостно взвизгнула, жеманно взялась кончиками пальцев за свою юбку, подбирая ее, и сделала изумительно глубокий реверанс, бормоча:

— Ваше величество... Ваше величество... Ваше величество...

Сутуловатый человек в костюме рыбака небрежно кивнул ей головой, и, не обращая больше на нее внимания, прошелся по палубе, все еще держа короткие руки за спиной.

В тот момент, когда он стоял под грот-мачтой, порывом ветра



На палубу «Ласточки» прибыла заблаговременно мисс Джессика Куннингем.

резко качнуло фонарь, и в то же время широкополая шляпа слетела с круглой, коротко остриженной головы.

Неверный, дрожащий свет фонаря упал на полное круглое лицо с крутым, переходящим в лысину лбом, изборожденным морщинами, и осветил резкие, словно из светлой бронзы вычеканенные черты этого лица, глубоко запавшие глаза, угрюмо сдвинутые над орлиным носом брови, упрямый круглый подбородок, покрытый щетиной давно небритой бороды.

И тогда я узнал его...

Два раза он прошелся по палубе не совсем верными шагами, слегка волоча правую ногу и прихрамывая. На ходу шевелил круглыми плечами, глубоко вздыхал, словно прополаскивая влажным морским воздухом ночи свои усталые легкие.

Я стоял у бушприта. *Он* увидел меня, но, должно быть, не обратить на меня внимания в первый момент: дойдя почти вплоть до меня, он повернулся ко мне спиной и снова пошел к корме. Но, сделав два или три шага, круто повернулся и направился ко мне.

В глаза мне заглянули глубокие темно-голубые глаза, словно желали разглядеть, что таится в самой глубине моей души. Левая рука легла на мое плечо, правая потянулась к моему уху.

— Это ты? — услышал я хриплый, может быть, от волнения голос. — Помнишь? Ватерлоо... Знамя, которое ты прятал у себя на груди... Помнишь? Ну, вот... Вот, мы снова увиделись, старый солдат! И — я свободен...

И его пальцы больно-пребольно впились в мое ухо. Но тогда я этой боли не чувствовал. Я почувствовал ее только после,

утром, когда обнаружил, заглянув в зеркало, что мое правое ухо покраснело и распухло...

Ночью я ничего не чувствовал, ничего не сознавал, кроме того, что передо мною стоит *он*, император Наполеон.

II

Несколько страниц из истории заговоров в пользу Наполеона.

Потом, в долгие дни пребывания в стране Матамани и Музумбо, когда мне пришлось быть одним из самых близких к Наполеону лиц, — я узнал все подробности побега. Чтобы не возвращаться потом к этому вопросу, я сейчас в кратких чертах передам все то, что знаю об этом деле.

Заговоры в пользу Наполеона начались еще в 1815 году. Его бесчисленные приверженцы, опомнившись от ошеломления, испытанного ими, когда Наполеон вторично отрекся от престола и сдался англичанам, сейчас же принялись лихорадочно за работу освобождения. Первый заговор в пользу Наполеона, был организован неким Диксоном, — по отцу англичанином, по матери французом.

Я знаю, в истории не сохранилось ни малейшего следа этого заговора. Очень может быть, что найдутся люди, способные заявить, что этого заговора и не было вовсе, что я попросту выдумал его... Но о нем я узнал от самого императора Наполеона.

По его словам, заговорщики рассчитывали подкупить часть офицеров и матросов «Беллерофона», остальных людей экипажа этого судна опоить сонным зельем, вывести Наполеона на берег в костюме английского офицера и увезти его в Ирландию, где у

него был надежный приют в замке одного упрямого лорда, партизана независимости Ирландии. Там Наполеон должен был переждать известное время, пока выяснится настроение Франции. Если бы Франция оказалась готовой снова призвать своего вождя, Наполеон отправился бы туда и стал бы во главе своих войск. Если бы настроение французов не благоприятствовало осуществлению этого смелого плана, то ирландцы обязывались переправить экс-императора в Северо-Американские Соединенные Штаты, где тогда уже находилась «мадемуазель Бланш» с Люсьеном.

Успех этого дерзкого плана был обеспечен: Диксон был офицером на «Беллерофоне», и ему приходилось держать вахту, сторожа каюту Наполеона. У него под рукой было около двадцати человек матросов, слепо повиновавшихся ему. Кроме того, с ним заодно действовали еще два морских офицера: эти были подкуплены. В ночь побега Наполеона каждый из них должен был получить по сто тысяч гиней...

Но в дело почти накануне его исполнения вмешалась сама судьба: на рейде, где стоял «Беллерофон» с пленным императором, Диксон, заканчивавший последние приготовления к побегу, плывя к фрегату, столкнулся в тумане с каким-то баркасом. Его шлюпка была разбита. Он и бывшие с ним матросы очутились в воде. Несчастье было сейчас же замечено. Со стоявших на рейде судов спустили шлюпки. Матросов удалось спасти.

На Диксоне был пояс, набитый золотом, — деньги, требовавшиеся для организации побега... И это золото потянуло его на дно. Его труп так и не был найден. Может быть, и теперь он

лежит на морском дне, удерживаемый тяжестью огромной суммы золота.

Второй по счету заговор был организован на средства Паолины Боргезе, сестры Наполеона, гордой красавицы, которая, чтобы помочь брату, продала все свои драгоценности.

Согласно этому плану, — на «Нортумберленд», английский военный корабль, отвозивший Наполеона на остров Святой Елены, должно было произойти нападение судном, которое подошло бы к «Нортумберленду» под английским флагом, под видом возвращающегося из Индии военного фрегата «Адмирал Ваддингтон».

План этот потерпел крушение, потому что в Бискайском заливе потерпел крушение сам этот мнимый английский фрегат, затонувший у берегов Сан-Себастьяна за несколько дней до предполагаемой встречи с «Нортумберлендом» и его конвоирами.

Тогда начался ряд заговоров, организовывавшихся одновременно в разных местах и по инициативе разных лиц и групп.

Положительно неутомимыми в этом отношении оказывались именно итальянцы. В Италии, которая имеет основание считать Наполеона за своего человека, — ибо он был корсиканцем и происходил из старинной тосканской фамилии, — особенно в Генуе и Милане, в те годы царил, можно сказать, культ Наполеона. В Риме, веками стонавшем под гнетом изуверных католических пап, у Наполеона тоже имелись бесчисленные приверженцы.

Как известно, в 1814 году, когда Наполеон находился еще не в плену, а лишь в изгнании на острове Эльба, — в Милане организовался большой заговор, о котором знает и история.

Было это в мае месяце 1814 года.

Сначала в Турине, потом в Генуе собрались делегаты различных частей Италии, мечтавшей об объединении, — два генуэзца, четыре пьемонтца, два корсиканца, два тосканца, два от Папской области и два от Неаполя и Сицилии. В их среде находились *Мельхиор Дельфио* и граф *Луиджи Корветто*, тот самый, который потом, с 1815 по 1819 год был министром финансов Франции.

Этот маленький конгресс в трех последовательных заседаниях выработал текст обращения к Наполеону, которое и было отправлено в ночь на 19 мая 1814 года. Они предлагали Наполеону корону Объединенной Италии с условием, чтобы он поклялся в уважении к выработанной ими «итальянской конституции», состоявшей из 63 главных статей.

Не буду тут перечислять всех подробностей, но отмечу, что новое государство должно было делиться на четыре области, с вице-королем во главе каждой: Неаполь, Флоренция, Турин, Милан.

Отправленное в качестве посла лицо благополучно доставило Наполеону все документы и вступило в переговоры. Наполеон одобрил проект конституции. Спешно были сделаны все приготовления для того, чтобы экс-император Франции мог с Эльбы переправиться на континент, столь близкий от «острова изгнания».

Кто знает, как повернулась бы судьба Наполеона, если бы он осуществил этот план?!

Но он отказался. Отказался, можно сказать, в последний момент: он получил из Франции известия, будто вся Франция мечтает об его возвращении. Коронай Объединенной Италии

он пожертвовал ради императорской короны Франции...

В разговоре со мной он как-то высказал, что эту ошибку он совершил, послушавшись коварных советов предателя Талейрана...

После «Ста дней», когда Наполеон находился уже на острове Святой Елены, в Италии снова возник аналогичный заговор, в котором главную роль играли римляне и неаполитанцы. Средства были даны отчасти той же Паолиной Боргезе, отчасти матерью Наполеона, Марией Летицией.

Согласно этому плану, должна была состояться форменная военно-морская экспедиция из пяти боевых судов, имеющих на борту несколько тысяч волонтеров и могущественную артиллерию.

Откуда заговорщики получили бы потребные боевые суда?

Суть в том, что королевство Обеих Сицилий, после войн с Наполеоном снова впадшее в свое сонное, расслабленное состояние, намеревалось отделаться от доброй половины своего флота, распродав суда под предлогом их устарелости. Правительство этого королевства было не прочь сбыть по хорошей цене суда грекам с островов, готовивших восстание против Турции.

А дальше?

Дальше флот должен был выйти в океан, добраться до острова Святой Елены, ночью высадить десант и освободить Наполеона. Кстати, на самом острове у заговорщиков были свои партизаны, как впрочем, и все время.

Но план этот погубили два человека: мать Наполеона, скупая до помешательства, и лорд Ворчестер.

Корсиканка отпускала деньги на заговор микроскопическими

дозами, торгуясь из-за каждого гроша. Благодаря этому, заговорщики могли приобрести вместо пяти судов, только два, — одно «авизо»¹ и бриг «Сан-Дженнаро».

И все же они решились выйти в море, в надежде на то, что к ним успеет присоединиться несколько более мелких судов с волонтерами, завербованными во Франции и Соединенных Штатах на деньги «мадемуазель Бланш», в том числе — знаменитое подводное судно Шольза и «Ласточка» Джонсона.

Подводное судно или «Гимнот» должно было осуществить самую трудную часть дела: ночью подплыть к острову и похитить Наполеона. Бриг и другие суда, слишком слабые для того, чтобы схватиться со сторожившими остров кораблями англичан и береговыми батареями, должны были рейсировать в открытом море в ста километрах от острова, на условленном месте, чтобы принять похищенного Наполеона с борта «Гимнота», как слишком тихоходного судна, и переправить его сначала в Бразилию, а потом, при благоприятных условиях — в Европу.

Но тут вмешался лорд Ворчестер.

Этот человек со дней Тулона преследовал своей неумолимой ненавистью Наполеона. За что — об этом я скажу после.

Обладая огромными связями, — он был родственником английского королевского дома, — и располагая баснословно огромным состоянием, Ворчестер, без усталости преследовал Наполеона.

В те дни, когда Наполеон был еще только генералом и отправился завоевывать Египет, Ворчестер на собственный счет снарядил шестидесятипушечный фрегат «Беспощадный», с кото-

рым принял участие в битве при Абукире.

Затем, когда Наполеон застрял в Египте, тот же Ворчестер ютился в трущобах Каира, подкупая арабских шейхов и вождей мамелюков.

Наполеону удалось уйти из Египта. Искупительной жертвой за него пал один из лучших генералов французской армии, благородный Клебер. Он был убит кинжалом фанатика араба.

Но сам Наполеон сказал мне:

— Араб был только орудием в руках другого.

И этот другой был лорд Ворчестер...

У Ворчестера на жалованье была целая армия шпионов и агентов, которых он содержал годами. Подозревая, что в заговорах в пользу Наполеона непременно будет принимать участие «мадемуазель Бланш», Ворчестер окружил ее своими агентами. Расчет оказался верным: шпионы выследили переговоры «мадемуазель Бланш» с Костером и Джонсоном, узнали, что Шольз взялся выстроить для Костера и Джонсона подводную лодку, и Шольз был убит мнимым траппером, как Клебер был убит мнимым дервишем...

В то время, как американские агенты расправлялись со злополучным изобретателем подводного судна, сам Ворчестер не дремал: он напал на след итальянцев-заговорщиков, оповестил об их плане правительство королевства Обеих Сицилий, добился того, что авизо «Позилиппо» было задержано в одной из испанских гаваней, а в погоню за ушедшим вперед бригом «Сан-Дженнаро» под командой Караччьоло и Гаэтано Сальвиатти, был отправлен великолепный быстроходный фрегат «Королева Каролина».

¹ Небольшое военное судно, разносящее приказания.

В числе волонтеров, находившихся на борту «Сан-Дженнаро», находился некий Порфирио Пэттинато. Это был один из агентов лорда Ворчестера, — шпион.

Пользуясь абсолютным доверием заговорщиков, считавших его пламенным приверженцем идеи свободы Италии и свободы Наполеона, синьор Пэттинато во всех тех гаванях, куда по пути к острову Святой Елены заходил бриг, — оставлял на имя Ворчестера донесения о намерениях и планах заговорщиков. Такое донесение было оставлено предателем и на острове Сен-Винсенте.

Фрегат, гнавшийся за бригом в течение нескольких недель и заглянувший в гавань Сен-Винсента, нашел это донесение, узнал точно, по какому направлению пошел «Сан-Дженнаро» и куда пошла за ним «Ласточка».

Фрегат пошел туда же. На наше счастье, «Ласточка» успела преобразиться, и ее маскировка обманула лорда Ворчестера, бывшего на борту «Королевы Каролины», а сказка о чуме на борту «Ласточки» испугала неаполитанского адмирала Санта-Кроче.

Бриг заговорщиков погиб в неравном бою. Но перед тем, как бросить факел в пороховой погреб, Газтано Сальвиатти распорядился повесить синьора Пэттинато, который случайно выдал себя, пытаясь спастись бегством в шлюпке.

История Пэттинато и его казни была рассказана нам тем самым мальчуганом, которого мы выудили из воды после гибели «Сан-Дженнаро». Недели через две после катастрофы к нему, онемевшему в момент этой катастрофы, вернулась речь, и он рассказал нам все, что ему было известно.

Вступая в бой с «Сан-Дженнаро», неаполитанский адмирал не обратил на наш люгер внимания. Но у лорда Ворчестера уже и

тогда зародилось подозрение, и он настоял на том, чтобы «Королева Каролина» вернулась на место боя и произвела осмотр подозрительного люгера, шедшего под русским флагом.

Остальное, относящееся к этому эпизоду, я уже рассказал в первых главах этих записок.

III

Как был организован с разрешения мистера Питера Смита, негоцианта, последний заговор в пользу Наполеона.

Заговоры в пользу Наполеона продолжались и после гибели «Сан-Дженнаро». Так, наше пребывание в Капштадте было связано с одной попыткой бегства Наполеона с острова Святой Елены под видом негра.

Попытка эта, — признаться, слишком нелепая, — не удалась: негры, нанятые для этой цели и проживавшие на острове под видом носильщиков, как-то перепились, в пьяном виде подрались, и в драке двое из них были убиты, третий изранен.

Тем временем созрел новый заговор, целиком организованный на средства «мадемуазель Бланш». Бедная женщина, до конца жизни оставшаяся верной Наполеону, истратила последние остатки своего состояния на это дело.

Нет ни малейшего сомнения, что и этот заговор потерпел бы участь всех прежних, если бы в дело не вмешался мой старый приятель, мистер Питер Смит.

Пока скажу только, что он вовсе не был ни скромным негоциантом, ни Смитом. Он был...

Впрочем, лучше об этом я скажу после.

Сейчас, скажу только, что мнимый мистер Питер Смит во все время бесчисленных заговоров в пользу Наполеона был в курсе дела и разрушал эти заговоры, как человек взмахом руки разрывает сплетенную пауком нить паутины...

Этот враг Наполеона был самым страшным его врагом, потому что он, мнимый мистер Смит, был великим государственным человеком, был, как про него говорили, некоронованным королем Великобритании и по своему усмотрению мог направлять все ее силы против Наполеона.

До 1820 года мнимый Смит работал, как говорится, и ночью и днем, чтобы не дать Наполеону освободиться.

Потом он изменил свой взгляд на Наполеона. Он понял, что у Англии нарождаются более опасные враги, чем мог бы сделаться освобожденный Наполеон. Он понял, что для борьбы с этими новыми врагами ему нужен сильный союзник, — и он решил, что этим союзником будет Наполеон.

Мистер Смит не был всемогущим: как всякий государственный деятель, он имел сильных противников, он был связан различными условиями международного характера. Действовать в открытую он не мог: этим он рисковал навлечь на Англию крупные политические неприятности. Коротко и просто отдать приказ об освобождении Наполеона — этого мистер Смит не мог. Ему надо было так освободить Наполеона, чтобы весь мир думал:

— Это дело рук партизан Бонапарта. Это дело рук заговорщиков. Мистер Смит тут не при чем... Это сделано вопреки его воле.

И, вот, мистер Смит принялся действовать.

При помощи своих агентов он всегда был в курсе дела и знал все нити многочисленных заговоров. Он знал, что с 1817 года

заговорщики, нуждавшиеся в помощи людей английской расы, завербовали капитана Самуила Джонсона, что Джонсон сошелся с американцем Костером, и что потом к ним примкнул доктор Мак-Кенна. Мистер Смит знал, что у этих трех людей было железное упрямство, и что они не ослабляют мысли силой или хитростью добиться освобождения Наполеона. Мак-Кенна участвовал в заговоре по идейным соображениям, Джонсон — соблазняясь обещанной приверженцами Наполеона миллионной наградой, Костера увлекла и алчность, и, пожалуй, еще больше, страсть к рискованным приключениям, жажда деятельности, жилка авантюризма.

И вот, мнимый Смит сам обратился к этим людям. В костюме мелкого негодяя он пришел в жилище Джонсона. Его первый визит я в свое время уже описал в одной из предшествующих глав. Смит снабдил Джонсона и Костера письмами ко многим видным лицам английской администрации острова Святой Елены, приказывая им помочь бегству Наполеона, оказать содействие Костеру и Джонсону. Но был человек, которому такое приказание отдано быть не могло, и это был палач Наполеона, губернатор острова, знаменитый Хадсон Лоу, двоюродный брат и ставленник лорда Ворчестера, личный агент великобританского королевского дома.

Хадсона Лоу нельзя было подкупить, его нельзя было даже запугать: у него были слишком высокие покровители. Оставалось одно только средство справиться с его сопротивлением, — и это средство было обман.

У Костера зародилась идея: разыграть комедию смерти и погребения Наполеона. Для этого могли послужить изготовленные

по особому заказу восковые статуи или автоматы, изображавшие Наполеона.

Живого человека подменили не одной, а несколькими восковыми статуями.

В первый же день подмены живой Наполеон был спрятан в заранее подготовленном тайнике — на чердаке Лонгвуда. Место его заняла сначала восковая фигура номер первый: фигура, способная двигать ногами. Эту именно фигуру вытаскивали в сад генерал Монтолон и его супруга. На расстоянии двух или трех шагов любой, даже самый внимательный наблюдатель поддался бы обману и подумал бы, что супруги Монтолон бережно водят по дорожкам сада ослабевшего, больного человека.

Как известно, внутрь жилища Наполеона доступа для посторонних не было. Единственный человек, который имел право входить туда, был сам «тюремщик Наполеона», но он избегал приближаться к пленному императору. Если Хадсону приходилось, — что бывало редко, — объясняться с императором, то он предпочитал делать это на расстоянии. Больше полугода Наполеон наотрез отказывался говорить с Хадсоном. Тюремщик бесился и мстил императору мелкими и подлыми придирками, но заставить императора говорить он не мог...

И обыкновенно он ограничивался тем, что издали, из соседней комнаты, из сада, с дороги наблюдал за Наполеоном. Точно то же делали и многочисленные холопы Хадсона, крупные и мелкие шпионы.

Этим-то обстоятельством и воспользовались заговорщики.

Вся свора ищек Хадсона и сам он в течение почти двух недель принимали искусно изготовленные восковые фигуры за

самого Наполеона. Да и они ли одни?! Ведь и я, знавший о том, какой груз доставлен «Ласточкой» в Лонгвуд, — был обманут не хуже других... Ведь и я искренно верил, что это сам Наполеон выбирается в сад, поддерживаемый супругами Монтолон, что это Наполеон сидит у окна в любимом кресле, читая какую-то книгу, что это Наполеон лежит на койке, а потом на смертном ложе...

Ведь и я искренне думал, что это труп Наполеона мог быть оскорблен диким нападением маньяка Ворчестера...

Предвижу вопрос: почему же Наполеон не бежал из Лонгвуда, как только заговорщикам удалось подменить его восковой фигурой номер первый?

Ответ очень прост: Лонгвуд был окружен тройной цепью солдат и полицейских. Хадсон Лоу, организуя охрану, соблазнил заняться шпионством немалое количество местных обитателей, да не только мужчин, но и женщин и даже мальчишек.

Одна группа сторожей находилась под надзором другой, и обе под надзором третьей. Шпионы следили за Наполеоном и друг за другом.

При этих условиях не было возможности выйти из пределов Лонгвуда, не будучи замеченным. Посты сторожевой цепи были расставлены на самом близком расстоянии друг от друга, и каждый, выходявший из Лонгвуда, непременно наталкивался на тот или иной пост, подвергался осмотру и допросу.

Единственный свободный путь был по воздуху. Но у Наполеона, крыльев ведь не было...

Таким образом, пока существовал надзор этой армии шпионов, побег был невозможен.

Единственное, на что можно было рассчитывать, это на сле-

дующее: раз кругом воцарится убеждение, что Наполеон при смерти, болен, что он умирает, что он умер, — тогда не только бдительность стражи ослабеет, но, быть может, и сама стража будет распушена.

По этим-то соображениям и пришлось разыграть опасную комедию до конца: живой Наполеон прятался в своем тайнике, куда мадам де-Монтолон приносила ему пищу, а последовательно заменяемые восковые куклы номер первый, номер второй, номер третий и так далее — исполняли его роль, вводя в обман и Хадсона Лоу, и шпионов, и честных людей, сочувствовавших пленному цезарю...

Когда комедия была доиграна до конца и использована последняя кукла, изображавшая умершего Наполеона, свершилось то, что и надо было предвидеть: бесполезная стража была снята. Положим, вокруг Лонгвуда еще бродили любопытные, в числе которых попадались и солдаты и наемные шпионы из жителей острова, но все их внимание было зафиксировано мнимым трупом императора, то есть, восковой фигурой, лежавшей на столе в большой комнате Лонгвуда и охранявшейся почетным караулом из солдат 54 полка.

Теперь любопытные проникали вплоть до Лонгвуда беспрепятственно, и столь же беспрепятственно уходили оттуда.

Выждав удобный момент, вышел переряженный рыбаком Наполеон, неся корзину на голове, и благополучно добрался до заранее приготовленного другого убежища, откуда уже ночью его друзья переправили его на борт «Ласточки».

Предвижу еще другой вопрос:

— Но, ведь, врачи освидетельствовали труп Наполеона? Но,

ведь, было произведено вскрытие, на котором присутствовало два чиновника и два офицера? Но, ведь, труп был набальзамирован?

Ответ на все эти вопросы прост:

— Это дело обошлось почти в два миллиона франков.

И чиновники Хадсона Лоу и врачи были заранее подкуплены, а отчасти действовали, подчиняясь категорическим приказаниям мнимого мистера Питера Смита. Все это было комедией.

Чтобы закончить объяснение махинации побега Наполеона с острова Святой Елены, мне осталось сказать очень немногое.

Шевалье Дерикур в самом побеге играл совершенно ничтожную роль. Он жил на острове, когда туда привезли Наполеона, в качестве камердинера у одного из офицеров, а вовсе не прибыл на остров с целью способствовать побегу императора.

Наполеон любил бриться каждый день. Хадсон Лоу разрешил пленному императору иметь бритвенный прибор, быть может, в тайной надежде, что когда-нибудь Наполеон перережет себе горло, но лишь в исключительных случаях разрешал, чтобы в Лонгвуд брить пленника ходил кто-нибудь из цирюльников Лонгвуда. Чаще других пользовался этим разрешением именно Дерикур, который выдавал себя за испанца. Кажется, Лонгвуд умело пользовался болтливым французом, который бессознательно играл роль шпиона.

Заговорщикам пришлось посвятить в тайну и Дерикюра. За содействие побегу ему было обещано двадцать пять тысяч наличными деньгами, пожизненный пенсион в три тысячи франков, и, кроме того, место при Тюильри с чином «гофмаршала, заведую-

щего парикмахерской частью двора его императорского величества».

Честолюбивый и легковверный тарасконец отдался Наполеону душой и телом.

Мисс Джессика Куннингеи играла роль не более значительную, но ею руководило честолюбие и своекорыстные расчеты.

Вот, в общих чертах, как был организован побег Наполеона.

Теперь еще одно и очень важное обстоятельство.

По условию с мадемуазель Бланш, бывшей душой большинства заговоров, после побега с острова император Наполеон должен был направиться на юг, в те воды, в которых вряд ли кому-либо пришло бы в голову искать его, если бы побег открылся раньше надлежащего времени. Мадемуазель Бланш должна была в определенном пункте рейсировать с принадлежавшим ей клипером «Франклином», взять на борт освобожденного пленника и увезти его в Южную Америку.

Вот при каких обстоятельствах в темную и душную майскую ночь бежавший из Лонгвуда император Наполеон прибыл на борт люгера «Ласточка»...

Теперь на экипаже этого суденышка лежал долг доставить императора на место встречи с клипером «Франклин», к беззаветно любившей его мадемуазель Бланш и к Люсьену...

IV

Опять три судна в открытом море.

Историки упоминают о том тропическом урагане, который пронесся над островом Святой Елены в часы, когда будто бы аго-

низировал император Наполеон. Это было 5 мая 1821 года.

Но те же историки совсем не обратили внимания на бурю, разыгравшуюся в южной части Атлантического океана между 7 и 10 мая того же года. А именно эта буря и сыграла решающую роль в судьбе бежавшего с острова Святой Елены императора и большинства его спутников.

В ночь на 8 мая наш люгер тихо снялся с якорей. Парусов мы не поднимали: опасались, что стоящие на рейде английские военные суда обратят внимание на наш уход и могут полюбопытствовать о его причинах. А у нас на борту был император Наполеон...

Джонсон, опытный моряк, решил воспользоваться тем обстоятельством, что в месте нашей стоянки наблюдалось сильное течение от острова в открытое море, и, подняв якоря, предоставил люгеру медленно, почти незаметно плыть по течению. Маневр удался превосходно. Наше легкое суденышко сначала постояло, словно в нерешимости, потом тронулось, поползло. Только самый внимательный наблюдатель мог бы обратить внимание на то обстоятельство, что оно перемещается, а, заметив это, подумал бы, что люгер дрейфует.

Перед рассветом часа за два мы настолько отошли от сторожевых судов, что были уже вне поля их зрения. Тогда Джонсон поднял паруса, и окрыленный люгер, как птица, понесся по морскому простору, уходя все дальше и дальше от острова.

Исполняя этот маневр, мы должны были уйти сначала на север. И, вот, когда мы собирались переменить галс, в недалеком от нас расстоянии показались отличительные огни шедшего на всех парусах небольшого судна, судя по оснастке — шеголевой быстрой яхты.

Яхта эта шла, пересекая наш курс, и появилась возможность столкновения. Джонсон, стоявший за рулем, несколько изменил наш курс, и десять минут спустя яхта прошла у нас по левому борту. Как я сказал выше, была еще ночь, но край неба на востоке уже светлел. Странное тревожное предчувствие охватило меня, когда я глядел на быстро сближавшуюся с люгером яхту. Мне чудилось, что это не настоящий корабль, а корабль-призрак...

И, вот, когда между нами было расстояние всего в несколько сот футов, я услышал испуганное восклицание, вырвавшееся из уст Джонсона:

— Одноглазый! Проклятие! Спрячься, спрячься, Джонни.

Почти не сознавая, что я делаю, я распластался на палубе. И в это мгновение услышал крик в рупор:

— Что за судно? Куда курс?

Джонсон в свою очередь схватил рупор и проревел:

— Рыбачий люгер «Проворный». Идем на ловлю!

— Откуда?

— С острова Святой Елены.

— Какие новости?

— Никаких!

— Что поделявает Бони? Не воскрес еще?

— Почему нам знать? Говорят, завтра похороны!

— Туда ему и дорога!

Покуда шел этот разговор, корабли все сближались и сближались, пока не подошли друг к другу на расстояние всего трех или четырех десятков саженей. И тогда... тогда я ясно увидел, что на носу яхты, у бушприта, держа в одной руке подозрную трубу, стоял наш непримиримый и беспощадный враг, лорд Ворчестер.

Как молния, у меня мелькнула мысль: он может разглядеть надпись на нашей корме и узнает, что это идет «Ласточка», та самая «Ласточка», которую вчера еще он видел на рейде Святой Елены...

Но Джонсон знал свое дело: едва разминувшись с яхтой, он круто повернул руль, люгер изменил свой курс и обогнул яхту по корме, так что пассажирам яхты имя нашего судна не было видно.

— Проклятая ищейка, — проворчал Джонсон. — Чего он здесь шатается? Какой черт вечно толкает его на нашу дорогу? Можно подумать, что он обладает способностью ясновидения, чувствует присутствие Бонапарта на нашем борту, гонится за нами... Ты, Джонни, плохо последовал совету его свет... то есть, мистера Питера Смита: надо было не нос расквашивать и не зубы выбивать у одноглазого шакала, а так ударить его по башке, чтобы у него мозги перевернулись...

— Постараюсь в другой раз сделать это, — отозвался я.

После встречи с нами, яхта, словно разыскивая кого-то на морском просторе, унеслась далеко на запад от острова, видневшегося в предзакатной полумгле. Мы пошли на восток, потом изменили в десятый раз наш курс и направились на юг, к условленному пункту встречи с «Франклином».

Но человек предполагает, а ветер располагает...

Едва остров Святой Елены скрылся из виду, как обнаружились первые симптомы приближавшейся бури. Барометр быстро падал, небо покрывалось мрачными тучами. Два или три раза начинался дождь, по всему пространству моря неслись валы с седыми верхушками, и наш люгер занырял, как щепка.

Наше суденышко, ничтожное по размерам, но обладавшее превосходными морскими качествами, бодро выдерживало борьбу с разъяренными стихиями, но недешево давалась экипажу эта борьба. Скоро пришлось задраить все люки и убрать паруса: и, без парусов, судно, гонимое бурей, мчалось, как стрела.

О соблюдении необходимого курса не могло быть и речи. Оставалось заботиться лишь о том, чтобы не дать бушующим волнам залить люгер и потопить.

Два дня длилась эта борьба с бурей. К концу второго дня мы увидели на расстоянии нескольких миль от нашего местонахождения бедствовавшее трехмачтовое судно.

Часа через два после того, как мы завидели это судно, оно было уже так близко от нас, что мы могли определить его по оснастке: это был клипер с сильно наклоненными назад мачтами.

— Держу пари, — вымолвил наблюдавший за этим судном Костер, — держу пари, что это «Франклин».

Да, это было судно, на борту которого находилась спешившая, подобно нам, к условному пункту встречи, мадемуазель Бланш, и его сын Люсьен.

Но судьба не хотела, что бы Бланш еще раз обняла Наполеона, чтобы сын поцеловал руку великого отца. Буря, гнавшая оба судна по одному направлению, бушевала с такой силой, что было бы чистым безумием спускать шлюпку: волны в мгновение ока перевернули бы ее и потопили бы ее пассажиров.

И час, и два, и три наши корабли плыли почти рядом.

На капитанском мостике судна стояла высокая, стройная женщина. Пышные черные волосы ее разметались по плечам, и

ветер трепал их. Рядом с ней, обняв ее за талию, стоял стройный молодой человек с непокрытой головой.

А на нашей палубе, у грот-мачты, охватив ее правой рукой, стоял тучный пожилой человек в сером походном сюртуке с надвинутой на лоб треуголкой, и молча, не шевелясь, кажется, не дыша, глядел на нырявший в волнах корпус гонимого бурей клипера.

Суда то расходились, то, применив какой-либо маневр, сближались снова. И здесь и там команда выбивалась из сил, отстаивая свое существование. И только три человека казались безучастными по отношению ко всему.

В последний раз Бланш, Наполеон и Люсьен видели друг друга и, словно сознавая это, спешили наглядеться...

.

Историки говорят, что 9 мая между четырьмя и пятью часами вечера на острове Святой Елены были совершены торжественные похороны праха императора Наполеона.

Это — ложь: похоронен был не прах императора, а искусно сделанная из воска и раскрашенная восковая фигура. Комедию доигрывали до конца, чтобы Хадсон Лоу не мог пронюхать о бегстве своего пленника, когда тот был еще близок.

Но в те часы, когда на острове разыгрывалась комедия похорон, обманувшая весь мир, на несколько сот миль от острова Святой Елены совершались другие похороны....

В три часа, когда наши корабли сблизились до того, что, казалось, смелому человеку можно было с палубы клипера перескочить на палубу люгера, вахтенный матрос с вышки оповестил, что к нам приближается третье судно. В четыре часа оно было на

расстоянии всего двух километров. В половине пятого оно нагнало нас. Это было английское судно «Гефест» под командой лейтенанта графа Эдуарда Карльтона. Судно гналось за нами. И на борту его находился лорд Ворчестер.

Потом, когда все было кончено, я узнал, как это вышло: за сутки до мнимых похорон Наполеона лорд Ворчестер заподозрил истину. Рассыпая золото, он добился полупризнаний английского чиновника. Опасаясь, что Хадсон Лоу сочтет рассказ о побеге Наполеона за сказку, — Ворчестер кинулся к своему другу и родственнику, лейтенанту Карльтону, командиру «Гефеста». Ему удалось убедить Карльтона, и тот решил действовать за свой собственный риск и страх. «Гефест» тайком вышел в бурю из гавани Святой Елены и ринулся преследовать нас. Условленное место встречи было известно Карльтону и Ворчестеру.

.

В списках английского военного флота за 1821 год значится: двухмачтовое судно «Гефест». Командир — лейтенант Эдуард Карльтон. Вооружение: шестнадцать орудий, в том числе, четыре дальнобойных кормовых пушки. Шестьдесят два человека экипажа. Триста тонн водоизмещения. Выстроено в Плимуте в 1802 году. Стационар на острове Святой Елены.

В списках того же английского флота за 1821 год то же судно со всем экипажем числится, *без вести пропавшим* в дни бури 7-10 мая 1821 года.

V Смертный бой.

Случай это? Совпадение? Или перст судьбы?

В без четверти пять 9 мая 1821 года, с английских судов и с береговых батарей острова Святой Елены загрохотали пушечные выстрелы, возвещающая миру роковой момент: гроб с останками императора Наполеона был опущен в могилу.

В без четверти пять за двести или триста миль от острова Святой Елены с борта судна «Гефест» раздался первый пушечный выстрел, направленный в корму клипера «Франклин».

Я видел, как ядро пронеслось над палубой клипера, как оно ударилось в беспомощно болтавшуюся рею и разбило ее, словно она была отлита из хрупкого стекла. Осколки разбитой реи осыпали палубу и, падая, убили двух матросов из экипажа клипера.

Второй выстрел с того же «Гефеста» был менее удачен: он предназначался на нашу долю, но в тот момент, когда пушкарь приложил фитиль к затравке своего орудия, волна сильно тряхнула корпус судна, и ядро пронеслось высоко над нами, не причинив нам ни малейшего вреда.

В одной из первых глав своих записок я, кажется, уже сказал, что на борту нашего люгера имелись собственные пушки. Их было не много, все они были малокалиберными и слабосильными, но при случае и люгер умел показать зубы...

Едва обнаружили намерения «Гефеста» потопить нас, как в нас заговорил инстинкт самосохранения и инстинкт злобы.

— К орудиям! — скомандовал Костер.

Клипер тоже не был совершенно беззащитным: на его борту

имелась одна дальнобойная пушка и штук пять более мелких орудий. Оправившись от первого замешательства, команда «Франклина» в свою очередь схватилась за оружие.

В общем, силы противников были почти равны друг другу: против шестнадцати пушек «Гефеста» мы могли пустить в ход восемнадцать своих. Но на стороне «Гефеста» было значительное преимущество в количестве дальнобойных орудий и в наличии опытных артиллеристов. Кроме того, «Гефест», как специальное судно, был лучше приспособлен к боевым целям, и даже во время бури лучше исполнял нужные маневры.

Врезавшись между клипером и люгером, «Гефест» принялся громить «Франклина» с правого борта, а нас с левого.

Не зная, на борту какого именно судна находится император Наполеон, «Гефест» большую долю своего благосклонного внимания уделял именно «Франклину», чаще поворачиваясь к клиперу кормой, чтобы поражать его выстрелами из крупнокалиберных кормовых пушек.

Нечто фантастическое было в этой артиллерийской дуэли: в то время, как три корабля, окутавшись клубами порохового дыма, стремились уничтожить друг друга, — свирепствовавший ураган работал над своим собственным делом — стремился потопить всех трех противников. И по мере того, как разгорался бой между ними, усиливалась буря.

В без десяти минут пять люгер получил первую серьезную пробоину у ватерлинии, и у нас на борту раздался зловещий крик:

— Вода в трюме! К помпам!

Почти одновременно ядро с клипера срезало бизань-мачту «Гефеста», и мачта, падая, убила командовавшего им лейтенанта

Карльтона. Команду судном принял казавшийся помешанным лорд Ворчестер. Но за разбитую бизань «Гефест» заплатил с лихвой, разбив руль клипера и влив пару ядер в корму. По видимому, при этом оказались подбитыми некоторые орудия «Франклина»: огонь его заметно ослаб.

После десятиминутного перерыва бой снова возобновился. Опять «Гефест» бил с правого борта по «Франклину», а с левого по люгеру.

Но теперь снаряды его почти не производили эффекта: буря достигла такого напряжения, что наши суда буквально швыряло, как щепки, прицеливание оказывалось по существу невозможным, трата пороху бесцельной. Мы были уже давно игрушкой волн и ветра, — теперь мы все оказывались во власти урагана, торопившегося довершить дело нашей гибели.

По небу мчались черные тучи, сделалось темно, как ночью, поминутно вспыхивала молния, озаряя зловещим фосфорическим светом кипящие волны и погибающие корабли.

Словно в ответ на грохот пушек раздалась залпы небесной артиллерии, и, Боже, каким слабым и безобидным казался мне тогда голос наших орудий в сравнении с голосом грома?!

В один из тех моментов, когда все небо казалось охваченным огнем пожара, я разглядел поданный клипером сигнал, предзнаменовавший нам:

— Не могу продолжать бой. Спасайтесь бегством!

Но легче было дать совет, чем последовать ему: наш трюм был полон воды. Треть наших людей или была смыта волнами или была перебита снарядами «Гефеста». Палуба была усеяна обломками разбитой мачты и обрывками снастей. Кажется, един-

ственным человеком, сохранившим полное спокойствие, был он, император Наполеон.

Он по-прежнему стоял у грот-мачты, обняв ее левой рукой, а правую держал за пазухой, и упорно глядел в ту сторону, где, как призрак, метался погибающий клипер и где еще время от времени грохотали пушки полузатонувшего «Гефеста»...

Ровно в пять часов прогремел последний выстрел с него. На этот раз авизо послал нам бомбу. Она упала на нашу палубу возле рулевого колеса, подпрыгнула, лопнула с оглушительным треском. Осколки с визгом пронеслись над моей головой. Непреодолимая сила толкнула меня, и я покатился на мокрую палубу. Когда я поднялся, ни рулевого колеса, ни только что стоявших около него матросов уже не было. И с носа люгера раздался отчаянный крик:

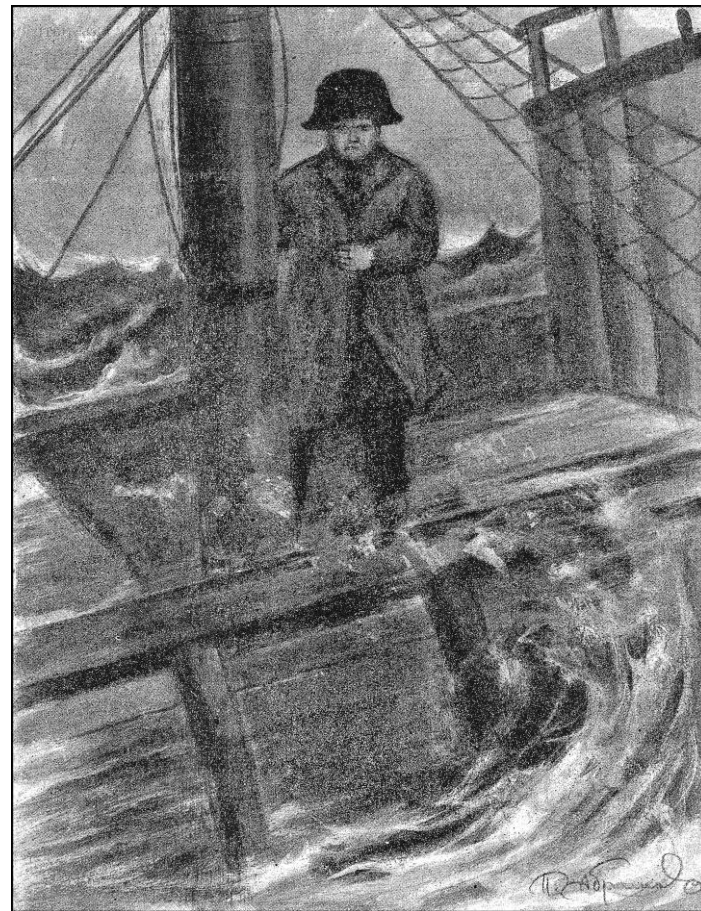
— Тонем! Тонем!

Но мы еще не тонули. Люгер агонизировал, но его последний час еще не пробил.

Раньше, чем его корпус погрузился в воду, мы видели, как, гонимый бурей, мчался на морской простор лишенный возможности управляться «Франклин», и как на том месте, где нырял в волнах «Гефест», погубивший нас, поднялся огненный столб; потом до нас донесся грохот взрыва.

При неверном свете взрыва, потопившего английский авизо, я разглядел вдали лишенное уже всех своих трех мачт американское судно: это был злополучный клипер «Франклин».

А сутуловатый человек в сером походном сюртуке и с надвинутой на брови треуголкой стоял на нашей полупогружившейся в воду палубе и, сжав губы, смотрел угрюмо в ту сторону, где еще



У грот-мачты, обхватив ее правой рукой, стоял тучный человек в сером походном сюртуке.

смутно виднелся черный корпус удалявшегося «Франклина».

Потом потянулись долгие часы последней борьбы с разъяренной стихией.

Набегавшие на нас волны отрывали от корпуса люгера одну доску за другой, прокатывались палубой, уносили с собой трупы погибших в бою и тела еще живых людей экипажа.

Потом небо очистилось. словно по волшебству, ветер стих, волны улеглись, как будто удовлетворившись одержанной над человеком победой, море сделалось гладким, как зеркало, над ним засияли лучи вечернего солнца.

И только тогда, когда солнце краем коснулось горизонта, уходя на покой, — пришла роковая минута: люгер опустился на дно морское.

А мы, его пассажиры?

За четверть часа до этого мы успели спустить на воду, кое-как зачинив, большую восьмивесельную шлюпку. Из грузов и припасов люгера мы поместили в шлюпку два бочонка воды, несколько мешков с сухарями и бочонок рома, жестянку с тростниковым сахаром, походную аптечку капитана Джонсона, ящик с порохом и свинцом для литья пуль да бочонок солонины. В нагруженной до краев шлюпке едва нашлось место для уцелевших людей. нас было десять человек, в том числе — я, император Наполеон, капитан Джонсон, Костер, доктор Мак-Кенна, шевалье Дерикур, Джесси Куннинге́м, юнга Сальватор, выуженный нами из воды после гибели «Сан-Дженнаро», и два наших матроса.

Капитан Джонсон захватил с собой в шлюпку морские инструменты, но, к несчастью, по неосторожности его же самого, важнейшие из них были обронены в воду и погибли. Из оружия с

нами было несколько кортиков, полдюжины пистолетов да пара багров.

С этим багажом мы оказались утром 10 мая 1821 года на морском просторе. Ближайшей к нам землею был остров Святой Елены. Течением и ветром нас гнало на северо-восток, к отстоявшим от нас на тысячи миль берегам Африки.

Когда пришло 10 мая, мы тщетно оглядывали море по всем направлениям — ни следа человеческого присутствия. Не видно было даже обломков сгоревшего после боя с «Франклином» судна «Гефест».

Небо и море. Море и небо.

А наша шлюпка плыла и плыла по океанскому простору, и над нами по безоблачному небу катился огненный шар майского солнца, осыпая нас мириадами стрел-лучей...

VI

Десять человек в шлюпке. Голод и жажда. Корабль на горизонте.

И день, и два, и неделя, и еще неделя.

Небо и море. Море и небо.

С первого же дня нашего путешествия, приведя в известность все имевшиеся у нас припасы, капитан Джонсон строго определил порцию каждого человека: стал давать только необходимое для поддержания жизни. Это строго необходимое определялось одним сухарем, в мою руку величиной, крошечным ломтиком солонины и четвертью стакана мутной и всегда теплой жидкости, по недоразумению именовавшейся водой.

На третий день нашего пребывания в океане на нас налетел

едва не погубивший нас шквал, одновременно потоками хлынул дождь. Воспользовавшись этим, мы собрали еще несколько галлонов свежей воды при помощи подставленного брезента, и уж, конечно, напились досыта.

На пятый день одному из матросов удалось ударом весла сбить на дно лодки пару летучих рыб, поднявшихся в воздух, убегая от какого-то преследовавшего их хищника. Рыбы были крупные и жирные, мясо их оказалось сладким, словно из сахара. Или, может быть, оно только казалось нам таким...

Рыбок разделили по-братски, и Наполеон, уверяю вас, получил долю, которая ни на золотник не превышала доли любого из нас.

На седьмой день новая маленькая удача: я выудил из воды целую кисть полусгнивших бананов.

Бог весть, сколько дней или недель пребывала эта злополучная ветка в морской воде. Мякоть бананов была насквозь пропитана солью, но, тем не менее, мы съели бананы, съели даже их кожуру. Разумеется, потом страшно хотелось пить, и Джонсону пришлось, скрепя сердце, раскошелиться, разрешить каждому двойную порцию воды.

Так тянулись дни.

В середине второй недели нам пришлось уменьшить и без того ничтожную долю каждого: сначала перешли на три четверти сухаря, потом на половину. Воды приходилось всего по два глотка в день, и мы начали невыносимо страдать. Единственный человек, который сохранил в эти ужасные дни всю свою бодрость, и даже хорошее расположение духа, — был император Наполеон.

Было ли это поразительным самообладанием, или, быть мо-

жет, в самом деле, вынужденная диета оказалась полезной его страдавшему от излишней тучности организму, я, конечно, не могу сказать, — но знаю одно: на наших глазах, худея, теряя нездоровый жир, император положительно молодел.

Исчезла одутловатость щек, втянулся живот. На лице появился здоровый румянец. Пропал несколько сонный, апатичный взгляд. Резче определился красивый орлиный нос. И Наполеон стал похож на те портреты, которые изображали его тонким, стройным, длинноволосым юношей.

Одно не вернулось к нему: его волосы отрастали, но и, отрастая, не могли скрыть большую лысину.

Держал он себя, по отношению к нам, как добрый товарищ. На первых порах он позволял себе вмешиваться в распоряжения Джонсона, но старый морской волк оказался мало склонным выслушивать его советы, и как-то раздраженно ответил Наполеону:

— Когда вы, сэр, будете сидеть на троне, тогда вы и командуйте. А здесь, на шлюпке, единственный командир — я. На мне лежит ответственность за всех. Если есть капля надежды, то только при неременном условии, что никто не будет соваться в мои дела.

Против ожидания, Наполеон отнесся очень благодушно к этой выходке Джонсона.

— Ладно, ладно, старый ворчун! — сказал он со смехом. — Конечно, вы наш командир. Да я вовсе и не претендую на то, чтобы умалять ваш авторитет. Просто, скучно сидеть, сложа руки. Я ведь, привык к деятельности.

— Даже слишком привыкли! — смягчаясь, ответил ворчун Джонсон. — Может быть, если бы поменьше суежились, так и в

беду не попали бы. Кой черт понес вас, спрашивается, в поход на Россию? Чего вы там не видели? Почему не сидели себе смиренно в Париже?

Наполеон оживился, как будто загорелся. И в течение целого дня и целой ночи разговаривал с нами о несчастном русском походе. Он и оправдывал этот поход, как политическую необходимость, и вместе признавался в сделанных ошибках.

Не буду передавать подробностей этой несомненно очень интересной беседы, но не могу не отметить нескольких важнейших пунктов ее.

Главными своими ошибками Наполеон считал непомерную растянутость коммуникационной линии, остановку в Москве, когда надо было, оставив там гарнизон, двинуться на Петербург, к морю. Заняв балтийское побережье, он получил бы возможность запастись провиантом и боевыми припасами морским путем. Русский царь, несмотря на заявление о готовности удалиться в Сибирь, вынужден был бы пойти на мир. Две столицы заняты, сообщение с Европой перерезано... Турки, несомненно, нарушили бы только что заключенный мир. Татары Крыма и черкесы Кавказа, поднялись бы против русского колосса.

— Но моей главной ошибкой, — горячо говорил Наполеон, — было не это. Мою армию погубила моя неосведомленность о настроении самих русских, — погубили неверные донесения агентов, разосланных по России до начала войны: они уверяли, что при моем появлении в пределах России поднимутся крестьяне, раз я обещаю им освобождение от крепостного состояния, что поднимутся староверы, лишенные права свободно исповедовать догматы своей религии.

Может быть, если бы удалось затянуть кампанию на год, в самом деле, эти явления имели бы место. Но катастрофа разразилась слишком быстро... Крестьянские волнения начались в России, но значительно позже, как эхо более грозных событий.

Еще одну ошибку признавал Наполеон: может быть, следовало бы остановиться, взяв Смоленск, укрепиться в Польше, создать польское поголовное ополчение, бросить польские полки на юг, на Киев, в Новороссию.

Польша богата естественными ресурсами. Поляки — способный воспламениться народ. И они ненавидели русских.

Надо было немедленно провозгласить образование особого королевства Польского, сделать королем Понятовского или кого-то из Радзивиллов. Этим одним Россия была бы навеки оттиснута от остальной Европы. Между Европой и Россией образовался бы солидный буфер. Польша, возрожденная Польша, поддерживаемая Францией, была бы форпостом Франции на Востоке и гарантировала бы спокойствие в Пруссии и даже в Австрии. Разумеется, нужно было еще заручиться содействием венгров...

И, увлекаясь, Наполеон развивал один план за другим, один грандиознее другого. По памяти, он цитировал параграфы опубликованных и тайных трактатов, сыпал, как из мешка, цифрами, перечислял силы свои и силы противников, причем обнаруживал поистине феноменальную память. Он помнил имена всех генералов, своих и чужих, помнил число орудий всех крепостей Европы и число людей, составлявших их гарнизоны, помнил расстояния между отдельными пунктами.

И твердил, забывая о том печальном положении, в котором мы находились:

— Но я же это еще переделаю. Я все это еще исправлю. Затем, — итальянский вопрос. Я недостаточно занимался им, а мне следовало обратить на него серьезное внимание. Итальянцы — самая плодовитая раса в Европе, не считая русских. В Италии имеются целые области, где маленькая семья — редкость. Там имеются семьи в десять, двенадцать, пятнадцать и больше человек. Итальянцы — превосходный боевой материал. В русском походе они держались великолепно.

Да, мне надо было бы заняться привлечением итальянцев во Францию. Я должен был образовать целые города из итальянцев, особенно в тех областях, где, как в Эльзасе и Лотарингии, нам, французам, приходилось считаться с наличием германского элемента. В четверть века итальянцы — живые, подвижные, умеренные в пище, непритязательные, — вытеснили бы немцев. Страсбург был бы латинизирован. В Меце не осталось бы ни единой немецкой семьи...

Еще и еще говорил о своих планах Наполеон.

И, слушая его речи, я чувствовал странную жуть: я начал понимать этого человека.

Впрочем, — подходит ли к нему этот термин? Был ли он, в самом деле, человеком?

Не было ли бы вернее назвать его сверхчеловеком?

Потому что ведь на людей он смотрел сверху, как имеющий право вылепливать по своему усмотрению все, что ему угодно, из пластичной человеческой массы...

А наша шлюпка плыла и плыла. Ночь и день сменяли друг друга. Штиль сменялся бурной погодой. Буря проходила, поща-

див наше утлое суденышко, словно судьба оберегала его пассажиров.

В конце второй недели у нас не было уже ни глотка воды и ни единого сухаря. Голод терзал наши внутренности, жажда отравляла кровь в наших жилах. Отчаяние закрадывалось в наши души.

И вот, в то время, когда, казалось, была потеряна уже всякая тень надежды на спасение, — один из наших матросов закричал диким, хриплым от волнения голосом:

— Парус! Корабль по курсу! Корабль, корабль... корабль по курсу!

И стал плясать, и принялся петь, махая изорванным платком.

VII

«Анна-Мария» с острова Борнгольм. Неизвестный берег.

Мелькнула и, как сон золотой, скоро исчезла надежда оказаться среди себе подобных, услышать людскую речь, получить необходимую помощь.

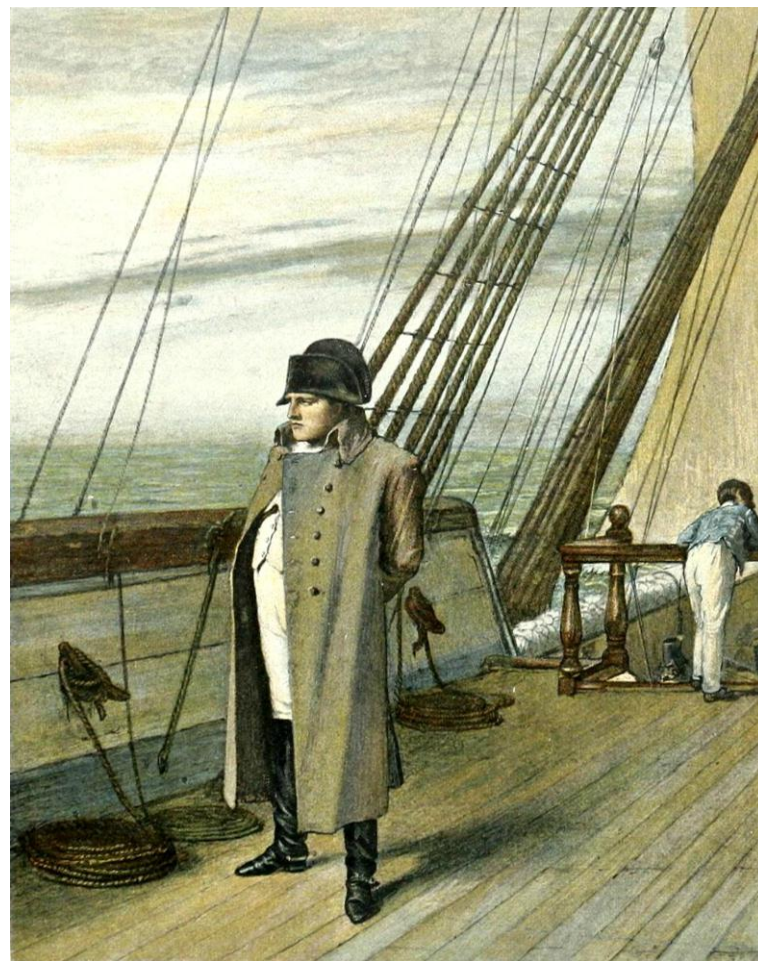
Да, Бен Торнбридж видел парус. Да, все мы видели какое-то судно.

Пять или шесть часов пришлось нам неустомимо грести, покуда удалось приблизиться к этому судну на такое расстояние, что мог быть услышан человеческий голос.

Разумеется, еще издали, желая привлечь к себе внимание экипажа этого судна, мы махали всяким тряпьем, кричали, стреляли. Судно плыло, правда, медленно, гораздо медленнее, чем плыли мы, но все же плыло.



Вкладка к Части 1 Главе XIX
На острове Святой Елены.



Вкладка к Части 2 Главе I
На палубе «Ласточки».

Когда мы приблизились, оно не откликнулось на наш зов, на крики, на пушечные выстрелы.

Но мы уже знали, что с этим судном что-то неладно: одна из мачт была разбита, и болталась у борта, запутавшись в снастях; на остальных двух мачтах паруса оказались изорванными в клочья, палуба усеяна обломками, часть фальшборта изломана. Корма опустилась в воду настолько, что изредка волна, набегая, покрывала и часть палубы.

— Это судно почему-то брошено экипажем, — разрешил все недоумения приговор Джонсона.

В том, что старый моряк не ошибался, мы убедились, пристав к борту «Анны-Марии» и по обрывкам снастей забравшись на палубу.

Кроме жалобно мяукавшего серого котенка с грязной голубой ленточкой на шее, там не было ни единой живой души. Нет, ошибаюсь: было, и притом множество других живых существ, но не тех, которых увидеть было бы нам приятно: это были огромные крысы, безбоязненно расхаживавшие по палубе, словно издеваясь над бедным бессильным котенком, который был ими положительно терроризован...

И, как ни велико было наше разочарование при сознании, что это покинутое экипажем, обреченное на гибель судно, — все же мы должны были радоваться: оно усиливало наши слабые шансы на спасение, оно обещало дать нам более надежный приют, чем тот, который давала наша шлюпка. И, что было дороже всего, — это покинутое экипажем судно избавляло нас от мук голода: в камбузе мы отыскивали несколько ящиков с сухарями, бочки с ветчиной и солониной, сахар, ром, рыбные консервы и так далее.

Не было недостатка и в воде, и хотя эта вода была уже достаточно испорчена, все же, — о, Вседержитель, — каким нектаром, какой небесной амброзией показалась она нам!

Наши капитаны, — Джонсон и Костер, осмотрев судно и выяснив его состояние, пришли к решению, что нам следует покинуть шлюпку и перейти на борт «Анны-Марии»: суть в том, что шхуна была нагружена лесом, сосновыми досками и бревнами. Потонуть она не могла, даже если бы вода затопила все ее трюмы: лес держал ее на поверхности воды, как гнилую пробку. Наша же шлюпка, могла опрокинуться и затонуть каждый миг. Было чудом уже и то, что мы пространствовали на ней две недели, да еще в тех водах, где так часты бури.

По всем признакам, люди экипажа «Анны-Марии», шедшей со своим грузом леса с острова Борнгольма в Капштадт, покинули судно в бурю, поддавшись панике, или ушли к континенту на лодках, не рассчитывая на возможность продержаться на борту, покуда течением и ветрами судно донесет до какого-нибудь берега.

Такие случаи, говорят, бывают довольно часто.

А брошенное судно упрямо держалось на воде, не желая тонуть, и странствовало по океану, сделавшись игрушкой волн и ветров. Может быть, не один раз оно приближалось к земле, но потом ветер снова отгонял его на морской простор.

Овладев «Анной-Марией», мы и отдохнули, и насытились, и, главное, утолили свою жажду, и приободрились; надежда на спасение все-таки возросла.

Не буду описывать странствований на покинутой экипажем шхуне: я не моряк, морская жизнь меня очень мало интересует.

Скажу только то, что считаю строго необходимым, как непосредственно относящееся к самой сути моего повествования.

Из трех мачт шхуны к тому моменту, когда мы овладели ей, еще держались две, — грот и бизань. Но грот-мачта находилась в таком положении, что могла упасть каждое мгновение, а закрепить ее мы оказывались бессильными. Поэтому мы попросту спилили ее. Бизань же удалось кое-как укрепить и поставить на нее несколько клочков холста, долженствовавших изображать паруса. Опять-таки кое-как поправили мы и разбитый руль, вернее, заменили его подобием руля, сколоченным из досок.

Судно не исцелилось от своих смертельных ран, но, все же, немножко оправилось. Так бывает с больными, осужденными на гибель, но оттягивающими на много дней, иногда, на месяцы, свой роковой смертный час.

Выше я сказал, что, пересаживаясь с борта «Ласточки» в шлюпку, мы взяли с собой судовые инструменты, но имели несчастье потерять их. На борту «Анны-Марии» никаких инструментов не оказалось: экипаж, покидая судно, забрал их с собой. Таким образом, о точном определении нашего местонахождения и речи быть не могло, но моряки, умеют, хотя и весьма приблизительно, определять, где находятся, по звездам. По этим наблюдениям Костера и Джонсона, мы были в нескольких сотнях миль от африканского берега. Шансов на встречу с каким-нибудь судном было мало: воды эти относятся к разряду мало посещаемых. Но все же эти шансы имелись. Наконец, пользуясь течениями, а еще больше нашими импровизированными парусами, мы могли направлять судно к берегу. Пусть этот берег дик и пустынен, все же это земля. Пусть нам предстоит

встретить на этом берегу лишь негров, все же это нам подобные, это люди.

И мы поплыли.

Небо и море, море и небо. И на морском просторе — «Анна-Мария», полузатонувшее, расплзающееся по всем швам судно. И на борту шхуны — десять человек, котенок с голубой ленточкой и десять тысяч свирепых крыс. И на борту этой готовой развалиться шхуны — *он*, бывший повелитель полмира, император Наполеон...

Второго июля 1821 года, после почти восьминедельного странствования по океанскому простору, мы, наконец, увидели землю, или, вернее сказать, — земля увидела нас и потянула к себе, разыгравшейся жестокой бурей «Анна-Мария» была выброшена на плоский песчаный африканский берег.

Судьба хранила нас: кипящие волны не помешали нам спустить все ту же шлюпку и, словно играя, донесли до берега, где она и засела, врезавшись в песок килем. Нам пришлось выбираться из воды, как мы умели и могли, борясь с волнами и обломками «Анны-Марии», — но мы выбрались. И не только выбрались сами, но ухитрились спасти и злополучного котенка.

И вот мы были на земле.

Где именно? В каких территориях? Кем заселенных?

Сами мы ответа на эти вопросы дать не могли, тем более, что крушение «Анны-Марии» произошло темной, безлунной ночью.

Но приближалось утро, и оно должно было принести нам решение всех занимавших нас вопросов.

При крушении «Анны-Марии» очень немного уцелело из нашего багажа. Но кое-что уцелело, в том числе пара пистолетов,

герметически закупоренный рог с порохом и так далее. При желании мы могли бы развести костер, чтобы обсушиться и согреться, но осторожность советовала нам до выяснения обстоятельств ничем не выдавать себя. Найдя на песчаном берегу пологий холм, поросший редкими кустарниками, мы разгребли песок, сбились все в кучу и пролежали до утра в яме, согревая друг друга близостью тел.

Пережитые волнения сказывались в сильнейшем утомлении. Не знаю, очнулись ли бы мы от овладевшей нами апатии, если бы подверглись нападению со стороны предполагаемых обитателей этой земли или диких зверей...

Едва было изготовлено наше странное убежище, — я повалился и моментально заснул, как убитый. Но сон мой был не долг: на рассвете я проснулся и уже не мог больше задремать. Тревожное настроение овладело мной. То самое настроение, которое было так знакомо мне, участнику множества боев. Знаешь, что с рассветом загремит барабан, запоют рожки, загрохочут пушки. Будут свистать пули, и визжать картечь, задрожит земля под копытами несущейся в атаку кавалерии... И когда снова спустится на землю ночь, — трупами будут усеяны поля, трупами будут завалены канавы и перелески.

Может быть, в числе этих трупов, будет лежать и твой...

Когда поднялось солнце, я бродил по пологому берегу, усеянному обломками досок с «Анны-Марии», бочонками, обрывками снастей. Бродил и думал о том, какая странная у меня судьба, о том, что моя милая Минни так далека от меня. Бог весть, придется ли мне когда-нибудь увидеть ее ясные глазки, услышать ее ласковый голос.

Туман клубился над морем и над землей, скрывая ее очарования. Лучи солнца, боролись с этим океаном тумана, и при свете этих лучей клубящиеся розовые волны его принимали самые фантастические формы. Казалось, рои призраков носятся над нашим лагерем.

Когда туман рассеялся, я огляделся вокруг и увидел в каком-нибудь километре расстояния от места нашей высадки, на берегу низенький лесок, и промеж деревьев леска виднелись хижины, напоминавшие большие грибы. Над одной из них, вился сизоватый дымок. Там были люди.

VIII

Мистер Браун меняет один литературный прием на другой. Кафры кричат «Килору! Килору!», а Наполеон вспоминает о депутациях сдававшихся ему столиц.

Написав добрую половину этих записок, я, Джон Томас Браун, бывший рядовой одиннадцатого линейного стрелкового полка армии его величества, совершенно случайно встретившись с известным мистером Самуилом Торнкraftом, как известно, много лет служившим в качестве секретаря и помощника у знаменитого романиста, сэра Вальтера Скотта, имел смелость обратиться к уважаемому мистеру Торнкraftу с просьбой проглядеть мое писание и указать мои промахи.

Я был глубоко убежден, что мистер Торнкraft отнесется резко отрицательно к самим моим мемуарам, как писанным чересчур неопытной рукой. Но к моему глубокому изумлению, приговор мистера Торнкraftа оказался совершенно иным.

Мои записки мистер Торнкraft признал вполне интересными. Не преминув отметить некоторые недостатки стиля и даже системы изложения, мой строгий, но благосклонный критик заявил мне, что рассказ мой значительно выиграл бы, если бы я, по точному его выражению, «не связал бы себе рук, приняв образцом для себя форму рассказа от первого лица».

— Судите сами, дорогой мистер Браун! — сказал он. — Ведь при таких условиях вы поневоле все время сосредотачиваете внимание читателя на собственной персоне, на собственных переживаниях и впечатлениях. Но ведь в вашем интересном повествовании обрисовываются и другие фигуры. И еще какие...

Да, у вас есть оправдание: свой рассказ вы предназначаете не для печати, а для чтения вашего собственного сына и наследника. Согласен.

Но подумайте, удобно ли для вас самих, даже принимая во внимание вышесказанное обстоятельство, все время рисовать себя центральной фигурой, вокруг которой развиваются все события мирового значения?

Согласитесь сами, что в интересах самого повествования было бы лучше в качестве центральной фигуры поставить самого императора Наполеона!

Попробуйте изложить эту историю не в виде личных записок, а в связной и последовательной форме рассказа. О самом себе говорите не в первом лице, а в третьем. Тогда вы получите большую свободу в распоряжении богатейшим материалом, имеющимся в ваших руках. И вы увидите, насколько сразу ваше повествование выиграет в интересе, сделавшись более живым, и, я

бы сказал, более литературным!.. Право, попробуйте, мистер Браун.

Совет мистера Торнкraft произвел на меня известное впечатление, и я пришел к следующему решению: не перерабатывая того, что уже мной написано, остальную часть моего труда написать в рекомендованной мне мистером Торнкraftом форме. Может быть, в самом деле, так будет лучше.

Утром третьего июля разыгралась сцена, которая постороннему наблюдателю могла бы показаться и непонятной и фантастичной.

Местные береговые обитатели, чистокровные негры, принадлежавшие к одному из кафрских племен, обнаружив пребывание белых, окружили их лагерь, явно выражая воинственные намерения. Негров этих было, считая женщин, свыше двух сотен человек. Вооружены они были луками, грубо выкованными ножами, топорами и ассегаями или метательными копьями. Побережные обитатели Южной Африки давно уже, — с тех дней, когда португальцы принялись отыскивать морской путь в Индию, — познакомились с белыми, и на свою беду познакомились с огнестрельным оружием белых. Поэтому они благоразумно держались вдали от спутников Наполеона, но издали метали в них стрелы и копья, к счастью, не достигавшие назначения.

Напрасно белые кричали, махали белыми платками, напрасно поднимали вверх зеленые ветви — символ мира и знак мирных намерений.

Раза два негры так близко подходили к белым, что это стано-

вилось уже опасным: стрелы свистали, ассегаи втыкались в землю в двух или трех шагах от наскоро сооруженных песчаных окопов, за которыми укрывались Наполеон и его спутники. Впрочем, тогда оказалось достаточным дать выстрел из пистолета, и кафры торопливо отбегали, явно боясь действия огнестрельного оружия.

И вдруг, словно по волшебству, все переменялось.

Какой-то молодой кафр с пестро раскрашенной физиономией и сложной высокой прической, держа в руке пучок ассегаев, змеєю подполз к лагерю белых, пользуясь тем, что все их внимание было устремлено на подступавшие со стороны берега толпы.

В двадцати шагах от окопов кафр остановился и, приподнявшись на коленях, схватился за ассегай, намереваясь бросить его в спину стоявшего посреди окопов сутуловатого человека в сером сюртуке, с треуголкой на голове.

Словно повинуюсь какому-то темному инстинкту, Наполеон обернулся, и его грозный, взор упал на фигуру кафра.

Занесенный для удара ассегай упал на землю, кафр уткнулся лицом в песок и завыл:

— Килору! Килору!

Потом вскочил и опрометью побежал кустами к своим товарищам, на ходу боязливо озираясь и выкрикивая то же самое загадочное слово:

— Килору! Ав-ха, Килору, Килору! Ав-ха Килору!

Смятенье воцарилось в рядах осаждавших окопы кафров. Мужчины и женщины забегали, заматались, оглашая воздух нестройными криками. Что, собственно, они кричали, — разобрать белые не могли, кроме двух уже знакомых слов.



Кафр уткнулся лицом в песок и завыл: «Килору! Килору!»

— Ав-ха, Килору! Ав-ха, Килору, Килору!

Потом всех их как ветром снесло куда-то. Добрый час в непосредственной близости окопов не показывался никто из аборигенов. И только около восьми часов утра, когда солнце порядочно припекало, из деревушки, прятанной среди деревьев леса, показалась процессия. Впереди рядами шли дети, разодетые в оригинальные плащи из широких листьев, напоминавших листья клена. На головах они несли узкогорлые кувшины, напоминав-

шие древнегреческие амфоры. За детьми, опять рядами, шли женщины.

За женщинами медленным и торжественным шагом двигались четверо удивительно безобразных стариков негров. Сделав пять-шесть шагов, они останавливались, выкрикивали что-то, звонко били себя кулаками в грудь, подпрыгивали на полметра в высоту, распластывались на земле, вскакивали, и снова шли торжественными, мерными шагами, чтобы через пять-шесть шагов повторить ту же процедуру подсакивания и распластывания.

Наблюдавший за этой процессией в бинокль император Наполеон задумчиво вымолвил:

— Это напоминает мне делегации тех городов, куда приходили мои солдаты. Не думают ли эти черные господа поднести мне ключи своей цитадели.

— Это они религиозную процессию устроили, — объявил Бен Торнбридж, один из двух спасшихся матросов с «Ласточки».

— А ты почему знаешь? — накинулся на него Джонсон. — Врешь ты!

— Я вовсе не вру! — запротестовал обиженно моряк. — Побей меня Бог, если я солгал! А на счет того, откуда я это знаю, так вы спросите Дана. Мы с ним вместе у буров в Капштадте тогда три года прожили, когда дезертировали с «Вулкана». Ну, и побывали с бурами внутри страны, помогали охотиться на слонов. И попали было в плен к таким же самым черным джентльменам, и нагляделись на их фокусы.

— Может быть, вы с Даном и язык их понимаете? — недоверчиво осведомился Джонсон.

— А то нет? — обиделся матрос. — Вот только, что значит

это самое «Килору» — понять не могу. А «Ав-ха» — отлично понимаю.

— Ну? Что значит «Ав-ха»?

— Это идол! Божок такой. Боятся они его, страсть как! Потому что он с облаков на землю огненные стрелы бросает, когда рассердится на черных джентльменов, он же болезни насылат, может, людей сумасшедшими делает, у коров молоко отнимает, дети от его взгляда судорогами заболевают...

— Так. Хорошо. А... а при чем же мы тут?

— Наверное кого-нибудь из нас за этого самого «Ав-ха» приняли.

— Что за чушь... — возмутился Джонсон. — Перестань! Как тебе не совестно, Бен!

— Пусть у меня язык отнимется, — заболел обиженный матрос.

Наполеон повелительным жестом прекратил спор.

— Посмотрим, — сказал он, — что из всего этого выйдет. В мирном характере депутации сомневаться нельзя, негры идут безоружными. Не думаю, чтобы сейчас нам грозила какая-либо опасность, но на всякий случай держите оружие наготове.

Сказав это, он смело перескочил песчаную стенку окопа и остановился в нескольких шагах впереди его, спиной к остальным. Он стоял в своей привычной, любимой позе — широко расставив ноги, сложив руки на груди и вытянув шею вперед.

Снова он ставил на карту свою жизнь...

И снова ставка была выиграна.

Не доходя десяти шагов до стоявшего неподвижно Наполеона,

вся депутация кафров опустилась на колени, и потом так и поползла, возглашая хором:

— Килору! Ав-ха, Килору, Килору!

Для спутников Наполеона, наблюдавших эту сцену, не оставалось ни малейшего сомнения в том, что кафры воздавали Бонапарту божеские почести и подносили ему дары свои в виде кувшинов, наполненных питиями, и глиняных мисок, содержащих яства.

— Ав-ха, Ав-ха! Килору! Ав-ха! — пел хор.

А четыре старика колотили себя в грудь с таким усердием, что стоял гул, точно от барабанов.

Внезапно вся депутация вскочила на ноги и понеслась вокруг Наполеона в бешеной пляске. Только старики не принимали участия в ней; они лежали перед Наполеоном, распластавшись, и что-то выли.

— В чем дело? — спросил Джонсон у матросов.

— Просят прощения за то, что осмелились на нас нападать, — пояснил Торнбридж. — Известно, черные идиоты... Говорят: мы думали, что ты простой смертный, и не подозревали, что ты Ав-ха, что ты Килору.

— А эти кувшины и блюда что означают?

— А это подарки. Вон старики воют, — лучшее от плодов земли нашей богу Килору. Лучшее от стад наших богу Килору. И драгоценнейшее из имущества нашему великому богу, богу богов, Ав-ха Килору.

Джонсон схватился за голову:

— Ничего не понимаю! — сказал он. — Выходит так, что и у негров существует культ в честь мосье Бонапарта!

IX

Остров Мбарха и негры Матамани. Шевалье Дерикур делается жрецом. Культ бога Килору. «Армия Матамани». Кого боялся Наполеон.

В течение июля, августа, и сентября месяца Наполеон и его спутники оставались на острове Мбарха, в качестве гостей жившего там клана негров племени Матамани.

Бен и Дан служили толмачами. При их посредстве потерпевшим крушение удалось стовориться с кафрами, оказывавшими, действительно, божеские почести Наполеону и величайшее уважение всем его спутникам, которых они именовали «эхри», что означало, по толкованию Бена и Дана — «мудрые» или жрецы.

В числе эхри оказался, к своему удивлению, и мистер Джон Браун, никогда на мудрость и прозорливость претензий не предъявлявший, и даже неаполитанец подросток юнга с «Сан-Дженнаро», и мосье Дерикур, и даже — мисс Джессика Куннингем.

Понадобилось личное вмешательство Наполеона в дело: живой и увлекающийся мосье Дерикур принял всерьез свою роль жреца, и в одно прекрасное утро появился перед изумленными спутниками в сплетенной из волокон местной конопли мантии с нарисованными на ней сажей чертями и крокодилами и в остроконечной конической шляпе с наклепленными на нее звездами.

«Шевалье» был очень разобижен, когда Наполеон обозвал его костюм маскарадным и приказал немедленно снять.

Но протесты не помогли, и импровизированному жрецу из Тараскона, пришлось разоблачиться.

Одним из самых важных пунктов для потерпевших крушение, да и для самого Наполеона было выяснить, почему они считали его за беспощадного бога Килору, повелителя грома и молний.

Наполеону воздавались почести, в его распоряжение был отведен местный храм — самая обширная и самая опрятная хижина. Для него в храме имелось странное сооружение из камня, трон Килору.

С утра и до ночи обитатели острова тащили в храм бога богов, все лучшее, что имелось в их распоряжении, и в том числе неимоверное количество пищи. Если живой Килору, то есть Наполеон, отказывался, по крайней мере, отвеживать от каждого блюда, то целая дюжина приставленных к нему молодых девушек с венками на шеях, бесцеремонно пичкали его. С неимоверной быстротой бедный император снова стал жиреть и терять свою подвижность.

Из объяснений Бена и Дана все-таки удалось понять причины обожествления кафрами Наполеона. В общих чертах история сводилась вот к какой схеме: несколько времени тому назад «с моря пришел Килору». Но он не мог двигаться, не мог говорить и есть, только глядел грозным взором, пугавшим всех. С величайшими почестями его отнесли в храм и положили — сидеть он не мог — на каменный трон. Должно быть, он вполне удовлетворился оказанными ему почестями и приносимыми жертвами: принес с собой счастье обитателям острова. Никогда рыбная ловля не была так удачна, как после прихода Килору на остров Мбарха. Никогда земля не давала таких богатых урожаев.

Мало того, весть о приходе Килору на остров разнеслась по всему побережью континента, и люди стали приплывать на ост-

ров, чтобы поглядеть на Килору, пришедшего с моря, помолиться, принести ему дары. Жители острова, вполне резонно считавшие «лежащего Килору» своей собственностью и своим покровителем, не замедлили сообразить, что из настоящего положения вещей можно извлекать серьезные выгоды: они стали допускать пилигримов в храм «лежащего Килору» только за плату. Была установлена особая такса: столько-то мешков проса, столько-то корзин рыбы, козленок, овца и так далее.

Пожертвования были настолько обильны, что все обитатели острова разбогатели.

Однако их счастье оказалось непрочным. Обитавшие на близком берегу кланы того же племени кафров стали завидовать обладателям «лежащего Килору». Счастливым островитянам и в голову не приходила возможность потери Килору. А беда была так близка...

Однажды темной ночью обитатели воинственного клана Музумбо тихонько подплыли к острову с целой флотилией пирог, на которых помещалось до трех сотен хорошо вооруженных воинов. Нападение было совершено так внезапно, что о сопротивлении и речи быть не могло: нападавшие избили стражу, ворвались в поселок, овладели храмом, вытащили «лежащего Килору» и увезли его в Гуру, резиденцию вождя клана кафров Музумбо.

Счастье ушло...

Рыба перестала ловиться, земля перестала давать богатые урожаи, паломничество прекратилось. Щедрое дары, которые приносились почитателями Килору и попадали в руки островитян, иссякли. Храмовые сокровища были похищены нападавшими.

И, вот так, в горестях и печали, прошло три года. А теперь... Теперь Килору вернулся. И притом Килору живой. Килору, способный двигаться, говорить, вкушать пищу...

И, как и тот, прежний Килору, этот пришел из недр моря. Пускай обитатели континента со своим неподвижным, своим немым Килору попробуют потягаться с островитянами, среди которых поселился Килору живой. Да еще не один, а с целой свитой из белых людей. Белые, может быть, «эхри», «мудрые» или жрецы. А, может быть... Почему и нет? Ведь они тоже вышли из недр моря... Может быть, и они боги. Только, разумеется, не столь важные, как сам Килору, потому что он ведь «Ав-ха», бог богов, грозный Килору.

Теперь снова начнется приток пилигримов на остров Мбарха, снова потекут рекой приношения, снова воцарится общее довольство. Снова будет обильно ловиться рыба, а нивы будут давать богатые урожаи.

Наполеона глубоко заинтересовал рассказ об этом таинственном «немом Килору», пришедшем из недр моря. Всех потерпевших крушение заняла мысль: что это такое?

Высказано было общее предположение, что речь идет о каком-нибудь языческом идоле, принесенном морским течением из неведомых далей и выброшенном на берег острова.

Но при чем же тут был «говорящий Килору» или Наполеон Бонапарт?

Все попытки разгадать связь потерпели крушение, — да это и было вполне понятно: у толмачей, матросов Бена и Дана, имелся весьма ограниченный запас кафрских слов, да и по-английски brave матросы выражались не столько литературно, сколько

выразительно, и пересыпали свою речь божбой и ругательствами.

Впрочем, заинтересовавший всех вопрос пришлось скоро отложить в сторону и заняться решением других, имевших более серьезное практическое значение.

В первую голову был поставлен вопрос об обеспечении общей безопасности: однажды островитяне уже подверглись нападению жителей континента, явившихся отбить у них «лежащего Килору». Как бы хищники не вздумали повторить нападение, чтобы овладеть серьезным конкурентом «немого Килору».

Едва возник этот вопрос, как сам император Наполеон принял за его разрешение. Казалось, в организации обороны острова он нашел то дело, по которому истосковалась его воинственная душа. Чуть ли не на третий день пребывания на острове Мбарха император Ав-ха, занялся, как он серьезно выражался, организацией военных сил местного населения. Все способные носить оружие туземцы были зачислены в новорожденную армию Наполеона. В нее вошли юноши, начиная с двенадцатилетнего возраста и мужчины до пятидесятилетнего. Мальчики и старики, а равно некоторая часть молодых женщин вошли в состав территориальной милиции, на которую возложена была сторожевая и разведочная части службы. Вся регулярная армия состояла из шестидесяти человек. В качестве инструктора и фельдцейхмейстера был назначен мистер Джон Браун, который таким образом из простых рядовых разом перешагнул все армейские чины — лейтенанта, капитана, майора и полковника — и сделался генералом, Наполеоновским генералом. Это чего-нибудь да стоило!

Человек около двадцати островитян мужского пола и человек

тридцать женского пола образовали «морской контингент», в котором инструкторами были Бен и Дан, а адмиралами — Костер и Джонсон. Доктора Мак-Кенна Наполеон назначил своим лейб-медиком, а одновременно генерал-доктором, дав ему в помощники четверку жирных и ленивых местных «эхри», то есть, жрецов и колдунов, которые обладали некоторыми познаниями в деле залечивания ран при помощи сока разных растений.

Разумеется, самому себе Наполеон отвел роль главнокомандующего и начальника главного штаба. Его личным адъютантом оказался шустрый и шаловливый, как обезьяна, юнга Сальватор.

Х

Чернокожие «косиньеры» и фузилеры, медные ружья, деревянные пушки и каменные ядра. Бутылочная почта с золотом и объявлениями и прочие странные феномены на острове Мбарха.

Для «организации вооруженных сил территории Мбарха», разумеется, нужно было оружие. И вот, тут-то в полном объеме проявился всесторонний военный талант Наполеона. Правда, и случай пришел к нему на помощь: море, выбросив на берега Мбарха остов «Анны-Марии», словно само позаботилось о том, чтобы уцелело почти все содержимое судна. Волны вынесли на тот же берег множество ящиков и бочонков, бывших в трюмах судна. При рассмотрении этих ящиков и бочек там нашлась целая коллекция металлических изделий, предназначавшихся, правда, для мирных целей — для сельского хозяйства. Это были серпы и косы. Немедленно Наполеон вспомнил, что при войнах конфедератов против России польские магнаты, выставляя в поле банды

своих крепостных крестьян, за неимением другого оружия, снабжали их именно косами, укрепленными на длинных древках. Вооруженные «хлопы» носили название «косиньеров». Поэтому часть кафров Наполеон вооружил таким же образом, и получился первый африканский легион косиньеров.

В одном из ящиков, выброшенном на мелкое место почти у берега, оказались довольно толстые и короткие медные трубы, — части неведомой машины. Осмотрев эти трубы, Наполеон решил, что из них можно соорудить примитивные короткоствольные ружья. Бен, в качестве корабельного плотника, получил поручение изготовить ложа. Сам Наполеон вычертил простой и удовлетворительно действующий механизм для спуска кремневого курка, а когда оказалось, что изготовление этого механизма не дается местным кузнецам, обошел встретившееся препятствие самым простым образом: фузилеры или стрелки должны были носить с собой в походе глиняные горшки с горящими угольями. Каждый фузилер имел, кроме ружья и горшка с горящими угольями, несколько аршин фитиля, приготовленного из морской травы. Когда фузилеру надо было стрелять, он совал конец фитиля в горшок с угольями, и фитиль загорался. Тогда оставалось только приложить горящий фитиль к затравке, и ружье палило.

Правда, вся эта операция требовала времени. Но, во всяком случае, армия Наполеона имела ружья, — а это одно делало ее грозной для врагов.

Долго, но тщетно Наполеон среди остатков груза, «Анны-Марии» искал какого-либо материала, пригодного для изготовления артиллерии. Но ничего подходящего не нашлось, и тогда он вышел из затруднения положительно гениальным способом: на

острове Мбарха росло одно дерево, отличавшееся невероятной крепостью своей древесины. Из молодых ветвей этого дерева туземцы, распаривая их на огне, выделявали ручки для своих ассегаев.

Потерпевшие крушение спутники Наполеона прозвали это дерево железным. Работая под руководством Наполеона, а отчасти при его помощи, тот же Бен успел, правда, с огромным трудом, высверлить два обрубка, каждый длиной в полтора метра. Впрочем, речь шла не столько о высверливании, сколько о выжигании внутренности обрубков. Работа эта была невероятно медленной, потому что «железное дерево» сопротивлялось огню почти в такой же мере, как и железу. Но терпение и труд все перетрут, и в конце концов работа была сделана. Изготовление двух пар колес из другого сорта дерева не представляло уже никаких затруднений, и через два месяца после начала работ армия Наполеона имела уже пару примитивных полевых орудий. Разумеется, каждый европейский артиллерист рассмеялся бы при виде оригинальных деревянных пушек, стволы которых «для крепости» были обмотаны сначала пятерным рядом железной проволоки, а потом еще засмоленными веревками, но Наполеон не смеялся; он, как артиллерист по призванию, не мог забыть того, что запорожские казаки в своих войнах против татар и поляков не без успеха применяли именно такие деревянные пушки, которые отлично выдерживали значительное число выстрелов, не разрываясь.

— Надо всегда пользоваться тем материалом, который имеет-ся под рукой, — твердил Наполеон своим спутникам, скептически относившимся к неуклюжим, чудовищно тяжелым ружьям и

еще более неуклюжим пушкам.

Вопрос о порохе решался просто: среди груза «Анны-Марии» имелись бочки с этим снадобьем. При крушении порох несколько подмок, но его высушили, и после испытания оказалось, что он взрывался ничуть не хуже того пороха, который сохранялся в спасенном рожке.

Да не подумает читатель, что все вооружение африканской армии состояло из описанных ружей и пушек. Кафры, работая над разборкой затонувшей у самого берега шхуны, которая в часы отлива оказывалась на обсыхавшей песчаной отмели, извлекли из капитанской каюты несколько кортиков, абордажных топов, и, кроме того, четыре ружья, а в довершение небольшую сигнальную носовую пушку. Ее Наполеон тоже поставил на колесный лафет и возлагал на нее большие надежды.

В чем чувствовался явный недостаток, так это в снарядах, ибо запас пуль оказался ничтожным, а свинца на «Анне-Марии» не оказалось.

Но из этого затруднения Наполеон вышел победоносно: для стрельбы из пушек он изготовил порядочный запас каменных ядер из морских голышей, недостатка в которых на этом берегу не было; вместо картечи должны были служить мелкие голыши и гвозди из корпуса «Анны-Марии», а для кремневых пистолетов было отлито несколько сот пуль из тех же медных труб.

Кафры, повиновавшиеся Наполеону Килору, как они повиновались бы богу, не понимали смысла всех предпринятых работ. Те люди, которых Наполеон снабдил импровизированными ружьями, под страшной клятвой держать все дело в секрете, для упражнений с непривычным огнестрельным оружием уходили в

глубь острова, за несколько километров от берегового поселка, в лесную чащу. До поселка оттуда гул выстрелов почти не долетал. А кто и слышал этот странный гул, тот находил определенное объяснение:

— Громоносный Килору сводит гром с неба.

В середине сентября месяца 1821 года «африканская армия» была уже организована и обучена во всех отношениях. Кафры проявляли изумительные таланты в этом деле, что, впрочем, было совершенно естественно: это ведь одна из самых воинственных наций если не всего мира, то, во всяком случае, Африки. В каждом кафре сидит прирожденный воин. Все они вообще проявляют полное равнодушие к смерти. Островитяне не представляли собой исключения в этом отношении. Кроме того, ими двигало особое побуждение: «живой Килору» обещал им месть их врагам, отнявшим у них кумира в лице «немого» или «лежащего Килору».

Услышав это обещание, они положительно из кожи лезли, проявляя невероятное усердие и непонятную для европейцев выносливость.

Когда Наполеон стал явно увлекаться своей идеей создания первых кадров «великой африканской армии», большая часть его злополучных спутников отнеслась к этому резко отрицательно. Даже Костер и Джонсон, не стесняясь, упрекали императора в том, что он занимается игрой в солдатики, вместо того, чтобы употребить все силы на поиски выхода, из положения современных Робинзонов.

На этой почве неоднократно происходили дебаты, при чем мало-помалу страсти разгорались и отношения обострялись.

— Нам надо выбираться из этой дыры! — ворчал Джонсон. — Солдатики — это хорошо! Направо, налево! Шагом марш... Но я предпочел бы наблюдать эту игру издали, а не принимать в ней участие, черт возьми!

— Адмирал Джонсон! — возражал ему Наполеон. — Я очень люблю, чтобы мои маршалы высказывали мне свое мнение откровенно, и я умею уважать каждое частное мнение, лишь бы оно было честным.

— А разве бесчестно то, что я говорю? — допытывался Джонсон.

— Хуже, чем бесчестно: оно глупо! Во-первых, упрек в том, что мы не заботимся об исходе отсюда, — не справедлив.

— Это вы не про бутылки ли говорите? Так, по-моему, ничего из этого не выйдет, и выйти не может. Даром только бумагу переводите да деньги в воду бросаете.

— Посмотрим, даром ли. Я думаю, что нет! — возражал Наполеон.

Сказанное требует маленького пояснения.

Суть в том, что как только император Наполеон превратился в бога богов Килору, он стал систематически каждые три дня бросать в море бутылки. В каждой такой бутылке помещался один английский золотой соверен или французский наполеондор и две записочки. В первой стояло следующее:

«Человека, в руки которого попадет эта бутылка, во имя гуманности просят доставить находящееся в бутылке *объявление* в одну из газет французских, английских или американских — для немедленного напечатания. Плата за напечатание должна быть произведена при помощи лежащей в той же бутылке золотой мо-

неты. Лицо, просящее об этом, выплатит тому, кто исполнит его просьбу, щедрое вознаграждение ровно через год, по напечатании сказанного объявления».

В чем же состояло объявление?

Несомненно, текст этого объявления принадлежал к так называемым условным. В нем имелось заявление, что крупная партия товара, который может подмокнуть, закуплен удачно неким Джеремием Стоксом, который просит торговый дом «Альберс и К°.» позаботиться об уборке груза, лежащего в депо Амаба-Арахара.

Другое извещение было от имени Питера Крэга, извещавшего дорогую матушку о том, что он временно находится в финансовом затруднении и просит прислать на выручку условленную сумму денег через пастора Арчибальда Мак-Абраха.

Было еще несколько других объявлений столь же невинного на взгляд содержания. Внимательный наблюдатель мог бы подозревать, что речь идет о чем-то гораздо более важном, чем подмокший товар или вексель проигравшегося пехотного поручика. Но и самому внимательному наблюдателю не пришло бы в голову, что во всех объявлениях путем добавления условленных лишних букв обозначено одно и то же слово африканский остров Мбарха.

Наполеон, предвидя возможность спасения бегством, заранее условился с некоторыми лицами на счет того способа, каким он может дать знать друзьям о месте своего убежища, о том, куда должна быть направлена помощь.

Кроме указанных объявлений, предназначенных к напечатанию в газетах, было изготовлено еще несколько совершенно отдельных по содержанию записок к частным лицам, в которых со-

держалось обращение то экипажа рыбацкого судна, то письмо капитана Ладзаро Пьюфи, то духовное завещание ловца губок Аристиды Париди. И в каждой такой записке в скрытой, понятно, форме, содержалось обозначение имени острова, давшего приют потерпевшим крушение.

В общем, таким образом, было брошено в море больше трех десятков бутылок разных форм и величин. Огромное большинство их погибло, не достигнув назначения, но две бутылки попали в честные руки, в руки людей, которые, не подозревая всей важности возложенного на них судьбой поручения, свято исполнили его. Записки попали к тем, кому предназначались, хотя и с огромным опозданием, и нашли отклик. Какой? Об этом — после.

Пока же вернемся к жизни Наполеона в качестве африканского Робинзона.

Темная безлунная ночь. Море тревожно: бегут валы и с глухим рокотом разбиваются о пологий песчаный берег. По небу мчатся тучи. Остров погружен в сонную дрему. На всем его пространстве не видно ни одного огонька. Только в кустах перекликаются ночные птицы, да ветер свистит, качая ветви.

И, вот, в нескольких милях от берега показывается словно рой призраков: от континента, который днем виден в форме голубоватой полоски на горизонте, несутся нестройными рядами длинные приземистые пироги, переполненные людьми. Изредка эти люди перекликаются вполголоса, и тогда флотилия пирог совершает различные эволюции, то ускоряя, то замедляя ход и меняя направление. Юркие и подвижные суда то собираются в кучу, то рассыпаются по значительному пространству. Все ближе, ближе

к острову подплывают таинственные пироги. Вот, они вошли в залив, скользнули по его берегу в полукруглую бухту недалеко от поселка, где стоит храм Килору, живого Килору.

В тот момент, когда пироги уже приставали к берегу, на берегу тревожно вскрикнул маленький серый попугай. Ему издали откликнулся другой поближе к поселку, третий — уже у самого поселка. Скрипнула дверь храма Килору. Как будто проползло что-то тяжелое по тропинке.

Зашумели кусты, пропуская кого-то к холму.

Люди, высадившиеся с пирога, разделились на два отряда и подошли к поселку с двух сторон. В сотне шагов от поселка они остановились, собираясь с силами, чтобы ринуться на незащищенную, беспомощную добычу.

Это были старые враги жителей острова Мбарха, такие же кафры, как и они, но кафры с континента.

Отдохнув несколько минут перед приступом, они снова ползут к поселку. Вот, ведущий их вождь дает сигнал к нападению. Темнокожие воины, держащие в руках пучки ассегаяев, вскакивают с диким воем, чтобы ринуться на стоящие в нескольких шагах хижины островитян.

Но что это?

С вершины холма срывается огненно-золотистая змея, летит над землею, шипя и свистя, падает на берег, где стоит предназначенный оберегать пироги отдельный отряд, и там лопается с оглушительным треском, осыпая тучей искр все окружающее.

С той же вершины холма, слышится повелительный голос:

— Пли!

Из двух десятков жерл вырываются огненные мечи, и туча

пуль несется в ряды нападающих.

— Пли! Первое!

Словно гром грянул и раскатился эхом. И дрогнул лес, и испуганно заметались волны.

— Второе! Пли!

И опять грохот пушечного выстрела.

Это длилось всего несколько мгновений. Но эти мгновения были ужасны для нападающих, и именно эти мгновения решили участь их.

Отпор был получен, и притом в такой форме, которая ошеломила нападающих кафров; они не могли даже понять, что, собственно говоря, случилось, почему вершина холма, изрыгая огонь и окутываясь удушливым пороховым дымом, послала в их ряды ураган смерти.

Действие пуль из медных мушкетов и картечи из деревянных пушек было уничтожающим, потому что они стреляли в упор. Кто не был смыт снарядами, тот обезумел от страха, и упал на землю, не смея двинуться.

Только две пироги успели отчалить от острова, но на вершине холма запылал злобный багровый огонь огромного смоляного факела, и снова послышался отрывистый голос, командовавший:

— Пли!

Маленькая сигнальная трехфунтовая пушечка, снятая с борта «Анны-Марии», сердито рывкнула, круглая бомбочка ударилась в борт первой пироги, пронизала его, упала на дно и взорвалась, калеча и убивая людей экипажа.

— Пли!

Вторая бомба, помчалась к следующей пироге, но миновала

цель. Тем не менее пирога, остановилась и беспомощно заплескала по волнам: все люди, находившееся в ней после первого же выстрела в паническом ужасе бросились в море и барахтались в волнах, увлекаемые течением все дальше и дальше от берега. А на вершине холма стоял грузный человек в сером сюртуке и треугольной шляпе на круглой голове.

В бою он не принимал участия. Он стоял на холме с золотой табакеркой в руке, зорко следил за совершавшимся у его ног, время от времени отдавая приказания отрывистым голосом.

А по побережью метались толпы вооруженных косами «африканских косиньеров», которые косили осмелившихся оскорбить громоносного Килору, бога мести.

XI

Расправа с побежденными. *Vae victis!* Черные полки будущего.

Наполеон собирается в поход на страну Матамани.

Утром, когда в розовых волнах тумана всплыл огненный шар солнца, островитяне могли привести в известность результаты ночного боя и первой африканской победы бежавшего из плена императора Наполеона. Результаты эти были поразительны: из островитян оказались убитыми только двое, да человек пять раненых, из которых один опасно.

Зато из кафров континента лишь немногие уцелели от бойни. Убитых пулями и картечью было мало: действие артиллерии было более устрашающим, чем активным. Но зато поработали косиньеры и другие милиционеры: в разных местах по берегу и в ку-

стах валялись горами трупы врагов, убитых ударами топоров, дубин и ассегаев.

В общем из трех сотен напавших на остров кафров уцелело едва двадцать пять человек, — да и тех островитяне пожелали немедленно принести в жертву богу богов, грозному Килору.

Но уцелевших от бойни кафров Наполеон немедленно обратил на общественные работы, а нескольких в собственные милиционеры.

На удивленный вопрос Костера, не рискованно ли это, Наполеон ответил, пожимая плечами:

— Вздор! Солдат теряет свою индивидуальность, как только он становится частью целого, как только он входит в полк. Весь секрет в том, чтобы на первых порах избегать посылать новобранца против его же сородичей. Я делал так: испанцев посылал против немцев, немцев против итальянцев, итальянцев против испанцев, поляков против русских, русских против испанцев. И ставил их на самые опасные места. И видели бы вы, с каким остервенением они грызли друг другу горло...

И при этих словах зловещая улыбка промелькнула по устам императора. Снова из-под личины обыкновенного смертного выглянул сверхчеловек, для которого человеческая жизнь имела только одну ценность: из стольких-то человеческих жизней можно слепить один полк, бригаду, корпус.

Ни единому из нападавших ночью на остров обитателей континента не удалось уйти от рабства. Допрос пленных выяснил, что разбойничья экспедиция была вызвана самыми низменными побуждениями. На континенте имелся отнятый у островитян «немой Килору», у островитян завелся новый, живой Килору,

пришедший с моря, и это могло отразиться на уменьшении доходов от притока пилигримов. Поэтому кафры племени Матамани порешили или похитить у островитян их сокровище, живого Килору, или уничтожить его.

Те же пленные показали, что, по условию с их главными вождями, не принимавшими в походе участия, по взятии острова, отряд должен был послать на континент вестников с извещением о ходе дел. Узнав об этом, Наполеон заволновался:

— Значить, нам надо немедленно идти в поход, — решил он.

— Зачем? — удивился Джонсон. — Что нам нужно на континенте? Ведь, залезая в эти трущобы, мы только откладываем в долгий ящик наше собственное освобождение.

Наполеон насупился.

— Адмирал Джонсон! — сказал он сухо. — Я считал вас за более умного человека, чем вы оказываетесь на самом деле! Я именно хочу проложить путь к свободе. Как мы можем уйти с острова? Куда? Есть ли у нас для этого какие-либо средства? Если мы воспользуемся пирогами кафров, то ведь для дальнего плавания эти суденышки абсолютно не годятся. Выходить с ними в открытое море является верхом неблагоразумия.

— Мы могли бы идти вдоль берегов, — проворчал Костер.

— А что мы найдем на берегах? — осведомился Наполеон.

— Какие-нибудь европейские фактории!

— Чьи, например?

— Ну, португальцев.

— И как поступят с нами португальские власти, когда узнают меня?

Джонсон и Костер в замешательстве молчали.

— Они арестуют всех нас, — продолжал Наполеон. — Вам, конечно, ничего особенного не грозит. В лучшем случае — несколько месяцев тюрьмы. А мне — возвращение на остров Святой Елены, откуда во второй раз уже не убежишь...

Костер и Джонсон озадаченно переглянулись. Если Наполеон будет освобожден с острова Святой Елены и доставлен к его друзьям, где он найдет безопасное убежище, — они, Костер и Джонсон — станут миллионерами. Если бегство не удастся, они не получают почти ничего. А на организацию побега Наполеона, они затратили несколько лет собственной жизни, да и денежные затраты их были весьма значительны.

— А что мы будем делать на континенте? — полюбопытствовал Костер.

— Пройдем до Гуру, столицы Матамани. Посмотрим там, что это за штука такая — «немой Килору». Матамани — целый народ, а не клан, как на острове. Умело действуя, мы станем во главе этого народа, организуем его военные силы, образуем форменную армию в несколько тысяч человек, победим соседей или заключим с ними мирные трактаты, распространим свои владения на юг и на север и на восток. Тогда...

— Словом, вы хотите сделаться императором Африки? — перебил Костер.

— Отчего нет? — ответил серьезно Наполеон. — Черный континент в свое время был колыбелью человеческой культуры. Если вы вспомните, например, историю Египта... Шампольон очень много рассказывал мне о жизни фараонов... Все несчастья Африки заключаются в том, что ее население разбито на множество племен, враждующих друг с другом. Если кому-либо удастся

объединить и примирить, хотя бы путем жестоких кар, эти племена, Африка представит грозную, политическую силу. И это — в интересах самого же африканского населения. Если бы я в самом деле сделался императором Африки, я позаботился бы о том, чтобы прекратилась торговля рабами, чтобы уничтожен был вывоз их в другие страны. Это позор для всего человечества...

Подумав немного, Наполеон продолжал:

— Вообще — у меня много проектов, о которых я думал и раньше, в дни молодости... Удивляюсь, что другие не додумались до этого. Но они додумаются. Они додумаются. Это — неизбежно, потому что это естественно. Судан — это человеческий океан. Конго — другой. Там можно наберечь миллионы, вы понимаете это, господа, миллионы беззаветно храбрых солдат. А Абиссиния, эта таинственная страна чернокожих христиан, где каждый человек прирожденный воин, где люди в бой идут как на пиршество, где, умирая, поют гимны смерти...

Ост-индская компания уже имеет полки сипаев. Придет день, когда чернокожих, сипаев или аскари будут иметь все европейские великие державы. И как интересны будут тогда бои!..

Вожди будут швырять один полк черных против другого. Белые солдаты будут образовывать только кадры инструкторов, офицеров-командиров, да, пожалуй, еще кавалерию. Негры, говорят, плохие кавалеристы. Но и это, может быть, требует проверки. Наконец, для кавалерии можно брать арабов. Мамелюки Египта показали-таки себя моим генералам! Это настоящие черти.

— Позвольте! — перебил размышлявшего Наполеона Костер. — Это все хорошо! Но у нас имеются непосредственные задачи!

— То есть, разрешение вопроса, как нам выбраться отсюда? К разрешению этого вопроса мы приближаемся, перебираясь с острова, на континент. Во-первых, там мы все будем в большей безопасности, чем на острове, который уже два раза подвергался нападению, и куда очень легко может высадиться десант англичан...

Словно для того, чтобы придать словам Наполеона особое значение, когда он произнес эту свою речь, расставленные в разных местах острова, пикеты дали условленными криками знать, что к острову приближается европейское военное судно.

Приняв известные меры предосторожности, Наполеон и его спутники принялись с берега наблюдать шедшее к острову судно. При помощи подзорных труб не представилось ни малейших затруднений в определении национальности судна. Это был великопальный палубный фрегат, с несколько грузным корпусом и слишком тонкими мачтами.

Шло судно под английским военным флагом.

Долго наблюдал Наполеон за эволюциями судна. Он видел, как, подойдя на расстояние не больше километра от острова, фрегат почти мгновенно убрал все свои паруса, как из шлюзов упали в воду тяжелые якоря и как с крон-балок были спущены четыре лодки, наполненные вооруженными людьми.

Труба выпала из задрожавших рук Наполеона. Лицо побледнело. Глаза округлились.

— Проклятие! — стоном вырвалось из его побелевших уст. — «Беллерофон»!..

Да, это было, в самом деле, то судно, на борту которого впервые испытал унижение плена свергнутый император французов.

Это был шестидесятипушечный английский фрегат «Беллерофон».

— Бежать! Снова бежать! — почти крикнул Наполеон.

Покуда четыре шлюпки с «Беллерофона», медленно и осмотрительно совершая промеры, приближались к острову, весь поселок опустел. Островитяне испытывали инстинктивный ужас перед европейцами, и «богу богов Килору» не представилось ни малейших затруднений заставить всех негров уйти вглубь острова, забиться в чащу, куда английские матросы вряд ли рискнули бы забраться.

Из своего убежища Наполеон сумрачным взором наблюдал за тем, как четыре шлюпки пристали к берегу, как матросы рассыпались по береговой полосе и забрели даже в поселок.

Убегая, островитяне увели с собой внутрь всех животных, и унесли наиболее ценное имущество, включая пленных. Но кое-что из живности поневоле осталось в пределах поселка, и Наполеон видел, как моряки гонялись за полудикими тощими свиньями и кололи их кортиками, чтобы, освежая, отвезти на судно.

— Они ищут не меня, — пробормотал он успокоенно. — Им нужна свежая провизия и вода! Больше ничего.

В самом деле, запасшись дешево доставшимся мясом и налив водой бочки, моряки вернулись к фрегату, который, постояв еще немного, поднял якоря, распустил паруса и гордо поплыл к югу.

Опасность нового плена для императора миновала. Он мог приступить к осуществлению своих сложных планов завоевания Черного континента...

XII

Наполеон берет город Гуру. Дерикур водружает знамя на крыше храма «немого Килору». Разгадка тайны «немого Килору». Мистер Костер и Сальватор отправляются в Европу посланниками Наполеона.

Опять ночь. Но на этот раз не ночь на острове Мбарха, а на африканском берегу.

В довольно бурную погоду два десятка пирог с кафрами с острова промчались через пролив, отделявший остров от материка, прошли довольно значительное пространство вдоль берега, нашли устье реки с болотистыми берегами, в тинистых водах которой имелось невероятное количество крокодилов, поднялись вверх по течению реки, пользуясь сильным приливом, и высадили людей выше негритянского города Гуру в стране Матамани. В ту пору Гуру, типичный южноафриканский поселок из полутора тысяч хижин, по форме напоминавших жилища термитов или гигантские ульи с коническими крышами из соломы, насчитывал до пятнадцати тысяч обитателей, и, значит, при надобности, мог выставить в бой до трех тысяч воинов. Нападение на Гуру было большой дерзостью со стороны Наполеона, вся «африканская армия» которого насчитывала не больше ста человек. Но Наполеон верил в свою звезду и верил в свои силы...

Незадолго до рассвета его отряд подошел на самое близкое расстояние к первым хижинам Гуру.

Грохот пушечных выстрелов разбудил обитателей Гуру. Едва они выскочили из своих обиталищ, как огненные змеи принялись вылетать из находившегося над поселком леса. Эти змеи, а

по-европейски — боевые ракеты, изготовленные собственноручно Наполеоном и срывавшиеся со специальных ракетных станков, падали на улицы Гуру, переполненные испуганными кафрами, и, падая, взрывались с оглушительным треском, осыпая окрестности тучами искр, зажигая соломенные крыши хижин. Почти одновременно в десяти местах Гуру вспыхнул пожар, пожиривший убогие хижины негров, как кучи сухой соломы.

В диком ужасе все население устремилось к стоявшему несколько в стороне большому зданию. Это был храм «немого Килору».

И, вот, когда обитатели Гуру с воплями и стонами добежали до храма, чтобы в нем искать убежища, чтобы молить «немого Килору» вступить за них, защитить от неведомого страшного врага, — двери храма распахнулись, вся внутренность его озарилась зловещим багровым светом, и на пороге храма появился... Килору! Оживший Килору! Воскресший Килору!

Бог богов, мстительный и беспощадный громоносный Килору! На нем была черная треугольная шляпа и серый сюртук. Но он глядел на замершую от ужаса толпу сверкающим взглядом, и его правая рука делала повелительный жест, который был понят кафрами: Килору приказывал всем пасть ниц и воздать ему божеские почести.

И кафры повалились ниц. Они лежали, не смея подняться, не смея взглянуть на ожившего Килору. А другие кафры, спутники Наполеона, обходили один квартал Гуру за другим, и среди лежавших на земле обитателей злополучного города отбирали знатнейших и старейших в качестве заложников.

На ветвях огромного баобаба, стоявшего рядом с храмом Ки-

лору, качалось около двадцати трупов. Это были вожди Гуру, жрецы храма «немого Килору», и сам «вождь вождей» и «отец ста», одноглазый кафрский царек Мха Гуру, тот самый, по инициативе которого остров Мбарха дважды подвергся нападению.

Завоевание царства Мха совершилось с молниеносной быстротой и не представило для Завоевателя ни малейших затруднений, не потребовало никаких жертв.

Мог стать жертвой своего боевого пыла только один человек из отряда Наполеона, шевалье Дерикур: он тайком смастерил из какого-то тряпья довольно громоздкое трехцветное знамя и намеревался водрузить его на верхушку самого высокого здания Гуру, то есть, на крышу храма «спящего Килору». Как шевалье ухитрился вскарабкаться на эту острую коническую крышу и добраться до ее вершины — история не знает. Но воткнув свое гордое знамя в соломенную крышу, тарасконец провалился сквозь слой соломы и упал внутрь храма с порядочной высоты.

Его величайшим счастьем было то обстоятельство, что в том месте, куда он упал, на полу храма лежала груда толстых ковров, смягчивших падение. Все-таки, шевалье, упавший с высоты в добрых десять метров, несколько минут лежал без сознания. А когда он очнулся, то в испуге вскочил и заорал благим матом: в двух шагах от него на каменном пьедестале стоял... император Наполеон, с грозно сверкающим взглядом и повелительно протянутой вперед рукой.

Это и был «немой» или «спящий» бог богов, Килору.

На обрубке дерева, на котором помещались ноги этого Наполеона, или этого Килору, как будет угодно читателю назвать его, имелась блестящая, отлично начищенная медная

лента, а на ней выгравированная черная надпись, гласившая:

«Император Наполеон. Двухмачтовый бриг. Порт Гавр».

Попросту говоря, это была носовая деревянная статуя Наполеона, грубо вырезанная из дерева и еще более грубо раскрашенная эмалевыми красками. Такими фигурами европейские моряки всех времен с незапамятной древности, чуть ли не со времен смелых мореплавателей финикиян, любили украшать носовые части своих судов.

Деревянный Наполеон в полтора человеческих роста величиной служил носовой статуей двухмачтового французского коммерческого брига «Император Наполеон», приписанного к Гаврскому порту. Бриг этот несколько лет благополучно рейсировал в водах Атлантического океана и был достаточно известен на островах Вест-Индии.

Летом 1812 года он вышел из порта Сан-Пьер на острове Мартиника, намереваясь плыть в Марсель, — и с тех пор о нем не было никаких вестей. Имея в виду, что через полторы недели после отплытия его с Мартиники разыгралась сильная буря, погубившая множество судов, можно предположить, что судно это было потоплено разъяренными волнами вместе со всем экипажем, или разбилось о какой-нибудь пустынный берег. Морские течения долго носили туда и сюда обломки несчастного судна, сделав из них для себя игрушки, а волны бережно баюкали деревянную статую Наполеона, и бури пели ему свои грозные песни, пока не выбросили статую на отлогий песчаный берег африканского острова Мбарха.

Остальное понятно: идолопоклонники кафры, обитатели острова, найдя статую, просто решили, что это — грозное и таин-

ственное божество Килору и, поместив статую в храме, принялись воздавать ей божеские почести. Обитатели континента отняли «немного Килору» у островитян. Случаю угодно было, чтобы «Анна-Мария» принесла к тем же берегам самого Наполеона, бежавшего из плена. И естественно, что островитяне, увидев экс-императора французов, обнаружили в нем сходство с его статуей, а потому и порешили:

— Это «говорящий Килору». Он вернулся к людям, которые так почитали его.

Наполеон, который в высшей степени обладал качеством великих кондотьеров — умением использовать в своих выгодах все благоприятные обстоятельства, учел, какие выгоды представляет для него мистицизм кафров и обожание «немного Килору». При нападении на город Гуру он с небольшим отрядом пробрался к храму, где лежала статуя «Императора», предоставив недурно знавшему артиллерийское дело Джону Брауну напугать обитателей Гуру при помощи ружейных выстрелов и «огненных змей». Заняв храм «немного Килору», Наполеон выждал момент, когда кафры ринулись к алтарю «немного Килору», и, осветив храм бенгальским огнем из запасов той же «Анны-Марии», разыграл вышеописанную сцену, которая имела неописуемый успех.

Не вдаваясь в подробности, историк должен отметить, что с этого дня Наполеон сделался властелином Гуру и всех обитателей страны. Если он еще и не сделался, как мечтал, императором Африки, то начало для этого было положено: теперь наполеоновским владением стал край, насчитывавший двести километров береговой линии и до трехсот километров в глубь страны. Это был край, пространством превышавший, пожалуй, Апеннинский

полуостров. Но все население этой страны, этой «первой африканской империи Наполеона», исчислялось скромной цифрой в сто тысяч человек, рассеянных по непроходимым лесным дебрям, и среди болот.

Весть о том, что Гуру, на четверть истребленный огнем, стал добычей «живого Килору», с невероятной быстротой разнеслась по всей стране Матамани, вызывая и тревогу и острое любопытство. Отовсюду к столице края потянулись своеобразные делегации, шедшие для того, чтобы проверить слух о появлении «живого Килору» и заручиться его благоволением.

Не теряя минуты напрасно и проявляя поразительную, нечеловеческую деятельность, Наполеон принялся за реорганизацию своего нового владения, набирая первым делом внушительную армию. У всех его спутников было дел, как говорится, по горло: приходилось работать, не покладая рук.

Для всех было ясно, что Наполеон готовится привести в исполнение какой-то грандиозный план. Но в чем состоял этот план, никто не знал, кроме него самого да доктора Мак-Кенна.

Одновременно с организацией сил нового африканского королевства Наполеон не оставлял идеи изыскания и других способов спасения и возвращения в Европу.

Через месяц после того, как Наполеон сделался королем страны Матамани, в том же самом «храме немого Килору» как-то раз ночью с вечера и до рассвета шло таинственное совещание, в котором приняли участие Наполеон, Мак-Кенна, Костер, Джонсон и Джон Браун.

На этом совещании было принято одно весьма важное решение.

— Да, — сказал, поднимаясь и расхаживая по храму, Наполеон, — это будет самое лучшее. Но кто возьмет это на себя? Послать Бена и Дана?

— Ни в коем случае! — возразил Мак-Кенна. — Во-первых, это малокультурные люди, во-вторых, нельзя на них положиться: они честны, но пьют. Чтобы они могли выполнить поручение, их необходимо снабдить деньгами и притом деньгами большими. Кто поручится, что, добравшись до цивилизованных стран, они не поддадутся соблазну вкушать от всех благ жизни? А закутив, они способны в пьяном виде проболтаться и погубить все дело. Нет, ни Бену, ни Дану такого деликатного поручения давать нельзя.

— Отправляйтесь вы, Мак-Кенна! — предложил Наполеон.

Мак-Кенна вскинул свой взор на Наполеона, как будто желая сказать что-то очень резкое, но ограничился тем, что произнес:

— Я должен оставаться с вами, сэр. Этого требуют ваши интересы.

— Вы думаете, я так болен? — осведомился Наполеон.

— Нет! Этого я не думаю! — ответил хирург. — По ваше здоровье все-таки оставляет желать лучшего. Медик должен всегда быть у вас под рукой.

— Тогда остается отправить Джона Брауна, — задумчиво вымолвил Наполеон.

— Невозможно! — хором откликнулись Джонсон, Костер и Мак-Кенна.

— Почему?

— Он слишком простодушный парень. У него могут выпытать тайну нашего пребывания.

— Но кого же, кого? — спросил Наполеон.

— Отправляюсь я, — поднялся Костер. — И возьму с собою Сальватора. Вдвоем мы добьемся цели.

Подумав немного, Наполеон вымолвил:

— Пусть будет так. Готовьтесь в путь, адмирал Костер! И скажите моему флигель-адъютанту Сальватору, что он будет сопровождать вас. Судьба Наполеона, быть может будет в ваших руках...

.

В первых числах ноября месяца 1821 года, шедшее вокруг Африки английское торговое судно «Юнона» увидело нырявшую в волнах пирогу с десятком гребцов негров. Кто-то подавал с кормы пироги сигнал, махая белым платком.

Командовавший «Юноной» капитан Вильям Симсон из Лондона, завидев пирогу, взялся за подозрную трубу.

Через полчаса на борт «Юноны» поднялись двое белых. Один был старик лет шестидесяти, другой юноша семнадцати лет с красивым смуглым лицом и блестящими глазами.

Когда старик передал капитану Симсону плату за проезд до Капштадта, лицо моряка просветлело.

— Ваши имена, джентльмены? — спросил старика капитан, пока привезшая к «Юноне» двух новых пассажиров пирога отошла от борта брига.

— Томас Линч, сэр! Плантатор из Бразилии, — рекомендовался старик. — Мой спутник — мой слуга, неаполитанец Сальватор Сартини.

— Как вас черт занес сюда?

— Потерпели крушение. Шхуна «Филадельфия».

— Странно, как негры не съели вас.

«Плантатор» пожал плечами.

Бриг продолжал свое плавание.

XIII

О том, как «принц Конго», матрос на борту «Мингера Ван Блоома», узнал в «плантаторе Линче» пирата Костера и что из этого вышло.

Бриг «Юнона» под командой капитана Симсона благополучно добрался до Капштадта, и подобранные им у берегов Бенгуэлы плантатор Томас Линч и его слуга Сальватор Сартини сошли на берег. Им пришлось дожидаться около двух с половиной недель, покуда в гавань Капштадта не зашел первый корабль, направлявшийся в Европу. Это был тяжеловесный голландский трехмачтовик «Мингер Ван Блоом», совершавший тогда регулярные рейсы между портами Китая и Голландией. Без особого труда плантатор Томас Линч и его слуга нашли себе приют на этом судне. Перед отправлением в путь мистер Линч написал, по крайней мере, десять писем в разные места Европы и Америки, но, как человек предусмотрительный и осторожный, устроил так, что все эти письма пошли по назначению не с «Мингером Ван Блоомом», а с двумя другими судами; ни одно из писем, с такими предосторожностями отправленных Линчем в Европу и Америку, не дошло по назначению.

Когда «Мингер Ван Блоом» еще стоял в гавани Капштадта, мистер Линч, переговорив с судовым агентом и запасшись билетами для себя и для своего спутника, взошел на борт голландско-

го судна и обратился к первому попавшемуся матросу с требованием показать, где находится отведенная для него каюта номер 17.

Матрос, к которому обратился мистер Линч со своим простым предложением, был великолепно сложенный негр с блестящими, как черные алмазы, глазами, приплюснутым носом и вывернутыми наружу губами. При появлении мистера Линча на палубе голландского судна, он нес куда-то ведро с водой, весело скаля великолепные белые зубы. Услышав голос Линча, он остановился, как вкопанный, и задрожал всем телом.

— Каюта номер семнадцатый! Понимаешь, болван?! — крикнул на него мистер Линч, который не обращал ни малейшего внимания на странно изменившееся лицо негра.

Тот попятился от Линча, словно заведя страшный призрак, наткнулся на канат и упал, выронив ведро, которое с грохотом покатилося по палубе.

— Масса! Масса! — бормотал упавший негр.

Линч рассердился и, выругавшись, обратился к другому матросу.

Тот сейчас же изъявил готовность проводить нового пассажира к «стюарду», заведовавшему распределением пассажиров по каютам. А упавший негр поднялся с канатов, поднял помятое при падении ведро, прихрамывая пошел к бушприту, и долго стоял там, дрожа всем телом и бормоча какие-то непонятные слова почерневшими губами.

В течение восьми недель шел «Мингер Ван Блоом» от Капштадта до Лиссабона. Несколько раз судно заходило в популярные гавани. Ни единого раза ни мистер Линч, ни его слуга, не

сходили на берег. Все время они проводили в отведенной для них каюте, о чем-то разговаривая вполголоса. Только по вечерам выбирались они на палубу. Линч усаживался в удобное кресло, его слуга на скамейку у его ног и опять переговаривались о чем-то тихими голосами. И все это время один человек неотступно следил за каждым шагом, за каждым движением мистера Линча, словно зачарованный. На бедного матроса негра словно из рога изобилия сыпались неприятности, сердитый боцман награждал его пинками и зуботычинами, флегматичный розовый помощник капитана время от времени отдавал приказание:

— Дать Юпитеру десять!

И негра били линьками.

Другие матросы издевались над ним, не давая ему покоя. Он все терпел, охваченный какой-то одной мыслью. И эта загипнотизированная мысль была связана с личностью мистера Линча.

По приходе в Лиссабон мистер Линч расстался со своим молодым слугой: Сальватор должен был из Лиссабона отправиться в Неаполь, Рим, Милан — передать какие-то письма мистера Линча его итальянским друзьям. Сам мистер Линч намеревался продолжать свое путешествие с тем же «Мингером Ван Блоомом» до Гавра и высадиться лишь там. Простояв три дня в гавани Лиссабона, судно воспользовалось отливом и выбралось в море. Это было часов около четырех дня. Часов же в шесть вечера, ушедший в свою каюту мистер Линч услышал стук в дверь.

— Масса! — сказал показавшийся на пороге негр, тот самый, который так странно вел себя во время путешествия.

— Что тебе? — откликнулся ворчливо лежавший на койке плантатор.

— Мы ищем капитанскую кошку. Разрешите осмотреть вашу каюту. Кажется, проклятое животное спряталось здесь.

— Ищи! — сказал Линч, поворачиваясь спиной к матросу.

Негр заглянул туда и сюда, даже под койку, — кошки не было.

— Ну, нашел? — осведомился Линч.

— Нашел! — сдавленным голосом произнес негр, приближаясь к койке плантатора и нагибаясь над ним. — Нашел, масса. Я нашел...

Его мускулистые руки вдруг с молниеносной быстротой опустились на тело Линча, длинные черные пальцы с нечеловеческой силой впились в костлявое горло американца, и сдавили его так, что Линч не успел ни вскрикнуть ни даже застонать и потерял сознание. Когда он очнулся, он лежал опутанным с ног до головы веревкой, как паутиной, с кляпом во рту, беззащитный, как ребенок. А у его койки сидел на табурете негр с бритвой в руках.

— Проснулись, масса? — осведомился он тихо. — Доброго утра, масса, дорогой масса Костер!

Мнимый Линч вздрогнул всем телом, и его налитые ужасом глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит.

— Я узнал вас, масса Костер, как только вы ступили на палубу брига, — продолжал как будто весело и беззаботно негр. — Масса Костер, конечно, не узнал бедного негра... Где же ему помнить какую-нибудь черную скотину?! Масса Костер на своем веку вывез из Африки тысяч пять негров и продал их в рабство. Но меня масса Костер должен был бы помнить. Ведь, это меня звали «принцем Конго», масса.

Линч опять задрожал всем телом и сделал неимоверное уси-

лие, чтобы освободиться от стягивавших его тело веревок, но только глухой стон вырвался из его груди.

— Масса вспомнил глупого «принца Конго», — словно обрадовался Юпитер. — Да, да, у массы хорошая память... Масса Костер помнит, как он пригласил «принца Конго» на борт своего корабля, обещая показать черному мальчику разные интересные штучки. Масса Костер помнит, как его матросы потом, на корабле, заковали «принца Конго» в цепи, бросили в трюм, и целых три месяца, каждый день били бедного маленького негритянского князька, покуда не сломили его гордость и его волю. Помнит это масса Костер, который теперь пришел на корабль под именем мистера Линча?

Кривляясь и гримасничая, негр поднес свою остро отточенную бритву к лицу извивавшегося червяком Костера, и на щеке появился небольшой надрез. Алая кровь потекла из этого надреза тонкой струйкой, скатываясь в седую бороду американца. При виде крови своего врага глаза негра буквально засветились.

— А помнит ли масса Костер, что было потом? — допытывался он, снова касаясь бритвой другой щеки Костера. — Помнит масса Костер, как вольного вождя негров, князя, он сделал своим слугой, и как заставлял его делать самые грязные работы. Масса Костер помнит, как за малейшую провинность принца Конго сажали на цепь в ту конуру, в которой сидел четвероногий пес, и масса Костер заставлял принца Конго выть по-собачьи... А это помнит ли масса Костер? Принц Конго вырос, полюбил черную девушку, которую звали Хлосей. Масса Костер позволил им стать мужем и женой. Потом, когда у принца Конго было уже трое детей, к массе Костеру приехал комиссионер из Луизианы, и Масса

Костер продал детей в одни руки, Хлою в другие, самого принца Конго в третьи.

И снова бритва негра трижды коснулась тела Костера в разных местах, разрезая ткани его одежды и ткани его тела.

Из десятка порезов струйками вытекала кровь американца, обагрывая одеяло его койки, образуя на полу каюты темную лужу. Негр принялся вполголоса напевать монотонную песню своей знойной родины, и время от времени снова наклонялся над Костером, чтобы нанести ему удар бритвой. Лицо Костера малопомалу принимало цвет пепла.

Утром следующего дня «стюард», пришедший разбудить Костера, с диким криком выскочил из каюты: труп американца лежал в залитой кровью каюте, а в углу той же каюты сидел матрос Юпитер и пел хриплым голосом монотонную песню своей далекой родины... И смеялся, и гримасничал, и тихо плакал.

XIV

О том, как второй посланник Наполеона, Сальватор Сартини, Вместо Италии попал в Марокко. По болотам Южной Бенгуэлы.

Почти две недели спустя по выходе «Мингера Ван Блоома» из гавани Лиссабона, другое судно, покинув прекрасный город Португалии, спустилось на юг, счастливо обогнуло Иберийский полуостров и вошло в Средиземное море через Гибралтарский пролив, пользуясь попутным ветром. На его борту находился мнимый слуга мистера Линча-

Костера — молодой неаполитанец Сальватор.

Таинственных писем Сальватору Костер не дал: в тех местах, куда направлялся Сальватор, иметь с собой письменные документы было слишком рискованным. Просто-напросто, еще в стране Матамани, Сальватор зазубрил на память надлежащие адреса, узнал пароли и лозунги, открывавшие ему доступ к тайным агентам Наполеона, и заучил текст соответствующих сообщений Наполеона.

Не подозревая о том ужасном конце, который постиг Костера, Сальватор плыл к родным берегам с легким сердцем: после всего, что ему пришлось пережить за последние годы, после всех опасностей, из которых он вышел благополучно, теперь ему казалось, что он совсем близок к цели.

По выходе из Цеуты «Прекрасный Цветок» взял курс на север, чтобы держаться общепринятой линии, по которой в те дни ходили парусные суда по Средиземному морю, — поближе к берегам Европы, подальше от берегов Африки; но поднявшаяся буря помешала капитану судна привести это благоразумное намерение в исполнение, отогнав его к тем самым водам, которых он боялся.

На третий или четвертый день путешествия на палубе «Прекрасного Цветка» поднялась тревога: на рассвете за кормой показались суда подозрительного вида, явно африканской постройки, с низкими корпусами и с низкими мачтами, на которых имелись большие косые паруса. К полудню испанское судно было окружено врагами, взято на abordаж, разграблено, потом пущено ко дну. Отчаянно защищавшийся от нападавших на него марокканских разбойников экипаж был почти поголовно истреблен. Чудом уцелевшие от бойни люди оказались рабами марокканцев.

Почти десять лет спустя во время похода испанского генерала Оливейраса против марокканцев один кавалерийский отряд налетом разгромил «зауйу» марокканцев у «Фуэнте лас Пальмас».

В то время, когда испанцы рубили и кололи своими палашами разбежавшихся марокканцев, из одной палатки выбежал полунагой человек с длинной черной бородой и закричал, простирая закованные в кандалы руки:

— Мадонна! Мадонна! Христиане! Спасите!

Приведенный в лагерь генерала Оливейраса пленник марокканцев, казавшийся на первых порах почти помешанным, поведал свою горькую участь: в течение девяти лет, попав в плен к марокканцам вместе с несколькими людьми погубленной африканскими пиратами шхуны «Бэль-фиорэ», он, Сальватор Сартини из Неаполя, переходя из рук в руки, был рабом марокканцев. Он сделал несколько отчаянных попыток к побегу, но каждая такая попытка заканчивалась неизбежным крахом, и от одного жестокого рабовладельца, посланец Наполеона попадал к другому, еще более жестокому и безжалостному. Он подвергался истязаниям, имени которым нет, и жил одной мыслью: Наполеон возложил на него важное поручение, это поручение должно быть исполнено.

Только эта мысль избавляла Сальватора Сартини от другой угнетавшей его мысли — покончить самоубийством.

Освобожденный раб марокканцев в 1831 году добрался до родной страны, из Неаполя пешком прошел до Рима, разыскал жившую там мать Наполеона, Марию Летицию Рамолино, и передал ей то поручение, которое десять лет тому назад дал ему император Наполеон.

Выслушав рассказчика, старая корсиканка сначала горько

рассмеялась, потом заплакала. Крупные слезы катились по ее морщинистым щекам, а старческие губы беззвучно шептали:

— Поздно, поздно! Он умер!

Скупая вообще, Мария Летиция оказалась щедрой к тому, кто был спутником бегства Наполеона с острова Эльбы, и дала Сальватору Сартини порядочную сумму.

— Поезжай в Лондон, — сказала старуха, прощаясь с Сальватором Сартини. Вот тебе адрес. Там ты найдешь старых знакомых, от которых узнаешь все.

Неаполитанец, не долго думая, отправился в Лондон и направился по указанному адресу. Кого он там нашел, об этом мы скажем в надлежащем месте. Покуда же вернемся к оставленным в Африке героям нашего повествования.

Южная Бенгуэла. Край бесконечных болот, где живут крокодилы, где в воздухе носятся мириады ядовитых комаров и где на немногих выступающих из болот островках, заросших кустарниками, ютятся жалкие поселки негров. И по этим болотам, то под проливными тропическими дождями, то под жгучими лучами солнца, медленно-медленно ползет огромная черная змея. Впереди бредут, словно призраки, белые. Во главе их приземистый тучный человек лет пятидесяти со смуглым и обрюзглым лицом. На нем затрепанная дырявая треугольная шляпа и обратившийся в лохмотья серый походный сюртук. Рядом с ним с меланхолическим видом шагает молодец почти саженого роста с рыжими усами и голубыми глазами.

Немного поодаль, на облезлом длинноухом муле продирается

сквозь кусты красивая молодая женщина с капризным выражением лица. За ней едва плетется горбоносый и черноглазый толстяк, в котором с первого взгляда можно узнать француза, и притом француза с юга, где люди любят петь, жестикулировать, кричать, хохотать.

В трех или четырех шагах седобородый старик в отрепьях, и с ним пожилой, но бодро держащийся сероглазый шотландец с жестяной за плечами и альпенштоком в руках.

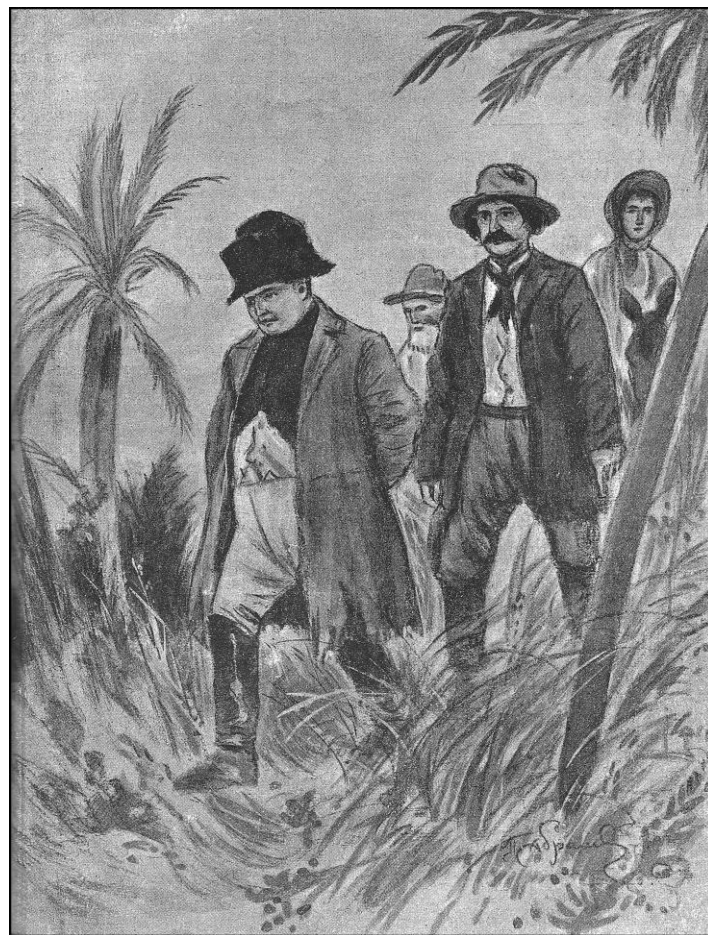
Потом идут, держась парой, загорелые и бородатые молодцы в матросских куртках, постоянно переругивающиеся и постоянно угощающие друг друга понюшками табачку.

А за этими «белыми вождами», в которых читатель, конечно, уже узнал Наполеона, Джонсона, Джона Брауна, доктора Мак-Кенна и его остальных спутников, тянется «черная гвардия» Наполеона из кафров страны Матамани, «линейная пехота», вооруженная только ассегаями и луками, артиллерия из двух чудовищно толстых деревянных пушек и одной бронзовой пушечки с брига «Анна-Мария».

Шествие замыкает пестрый отряд носильщиков, которые на головах тащат большие тюки со съестными припасами.

Дороги нет.

Каждый шаг стоит неимоверного напряжения. Каждый шаг дается дорогой ценой. За день «Великая Африканская армия» продвигается вперед всего на три, четыре километра. Добравшись к вечеру до выдающегося из болот холма, «армия» располагается на ночлег. Пылают костры. На кострах варится пища в закопченных котлах, и смолистый дым окутывает голубоватым туманом окрестности.



Во главе их шагал тучный, приземистый человек в треугольной шляпе.

А измученные, теряющие последние силы люди идут и идут на свет костра, туда, где на большом барабане из обрубка дуплистого дерева сидит одетый в лохмотья тучный человек со смуглым обрюзгшим лицом. Сидит и смотрит стеклянными глазами на багровый свет костра и что-то вспоминает.

Утром гаснут костры. Тревожно гудит барабан. И снова по болотам Южной Бенгуэлы извивается, ползя на север, черная змея. А там, где она, свившись в клубок, провела ночь, там лежат трупы умерших за ночь. Умерших от утомления, которое превышает человеческие силы, от истощения, умерших от странной болезни, напоминающей холеру, покончивших с собой самоубийством...

Зимой 1822 года почти пятитысячная армия Наполеона выступила в поход из покинутого города Гуру, направляясь в северную Бенгуэлу, в Музумбо. Она шла четыре месяца. Она летом 1822 года пришла к Музумбо.

В то время труп Костера давно уже лежал, зашитый в мешок, на дне Атлантического океана; бедняга Сальватор Сартини был уже рабом марокканцев и томился в цепях.

Из пяти тысяч кафров, ушедших с Наполеоном из страны Матамани, до Музумбо добралось всего около трехсот. И это были не люди, а скелеты. Но из белых, сопровождавших в этот поход Наполеона, до Музумбо не дошел один только Дан. Еще в самом начале пути он схватил болотную лихорадку, которая и свалила его в сырую могилу.

Товарищ Дана, плотник Бен, оказался покрепче, и добрался до

Музумбо, но только для того, чтобы свалиться и умереть на четвертый день по прибытии к месту назначения. Джонсон провалялся больше полугода, а когда поднялся, — походил на тень и казался не совсем нормальным. Мак-Кенна схватил тропическую лихорадку, которая потом в течение десятилетий не оставляла его. Долго боролся со смертью шевалье Дерикур. Как призрак, почти не сознавая, что делается вокруг, бродил Джон Браун покуда его богатырская натура не справилась с болезнью.

Собственно говоря, только два человека из всех испытаний этого поистине безумного похода в страну Музумбо вышли почти невредимыми: это были — сам Наполеон и мисс Джессика Куннинге́м.

XV

О том, как Наполеон стал диктатором Музумбо и наследником черного царька Мшогира. «Черный кофе» мисс Джессики. Рагим вернулся.

Если бы «великую африканскую армию» в стране Музумбо встретили враждебно, — несомненно, поход кампании был бы для Наполеона еще более катастрофичным, чем исход русской кампании в 1812 году. Но Наполеон пришел в Музумбо в такой момент, который был для него более чем благоприятным: старый вор, грабитель и разбойник, черный царек Музумбо, Мшогир, давно уже страдавший всевозможными болезнями и отравленный одной из своих бесчисленных жен, умирал. В стране кишел раздор: добрый десяток более мелких вождей оспаривал права на престол Музумбо. Каждый из претендентов вербовал партизан. Все были готовы перегрызть друг другу горло.

«Живой Килору», весть о котором опередила его приход на много недель, словно с неба свалился. С ним было мало, очень мало людей, но он имел «гвардию» в двадцать человек, вооруженных медными ружьями из водопроводных труб, и артиллерию из трех пушек. У него имелся еще запас пороха для ружей и пушек. Попробовавший загородить Наполеону дорогу к столице Музумбо, племянник старого Мшогира по имени Рагим, при первой же стычке был разбит наголову, войско его разбежалось, как только рывкнула бронзовая пушка «Анны-Марии», сам он пропал без вести, столица оказалась в руках Наполеона, а с ней разбитый параличом Мшогир. Наполеон сейчас же объявил себя протектором и диктатором, повесил наиболее насаливших населению людей и сделался фактическим владыкой страны Музумбо. Через месяц Мшогир отправился туда, куда за свою жизнь он отправил разными способами тысяч двадцать своих подданных, и население совершенно равнодушно приняло весть, что отныне его «хуши» или императором будет пришедший из страны Матамами «Живой Килору», он же «Напи», то есть, Наполеон.

Оставаться в стране Музумбо на всю жизнь Наполеон, как читатель знает, отнюдь не рассчитывал, а укрепившись на африканском троне, сейчас же принялся хлопотать об изыскании способов вернуться в цивилизованный мир. Страна Музумбо — это та часть Бенгуэлы, куда не проникли португальцы, быть может, потому, что страна эта бедна и пустынна. Но в Наполеоне всегда жил дух великого организатора, умеющего находить сокровища там, где другие нищенствуют. При помощи Джонсона он отыскал, правда очень бедные золотом россыпи в песках реки Чури и заставил новых поданных собирать драгоценный металл. Караван

за караваном отправлялся к морскому берегу, отвозя португальцам кожи, шкуры диких животных, кокосовую копру, страусовые перья.

Торговля эта была очень невыгодной: португальцы безжалостно обсчитывали туземцев и платили им десятую долю того, что могли бы дать. Но на подобные мелочи обращать внимание не приходилось. Наполеон заботился лишь о том, чтобы какой угодно ценой добыть порох и ружья, топоры, гвозди, веревки, полотно.

Пока возвращавшиеся с морского берега караваны подвозили все, полученное ими от португальцев, сотни чернокожих рабочих валили лес, снимали с деревьев кору, и ножами и топорами вытесывали доски и балки по указаниям Джонсона. Работа подвигалась очень медленно, но все же подвигалась. Через семь месяцев по прибытии в страну Музумбо Наполеон заложил на примитивном стапеле остов первого морского судна, выстроенного на этой территории. Это была двухмачтовая шхуна «Корсика» длиной в 65 футов, могущая поднять до сорока человек и соответствующее количество провизии на трехмесячное плавание. Сооружение и оснастка «Корсики» потребовали больше года работы, и когда судно было готово, оно производило наружным видом сносное впечатление. Джонсон, знавший толк в этом деле, уверял, что «Корсика» способна при нужде переплыть даже океан.

По мере того, как постройка судна подвигалась, Наполеон заметно оживал. Нетерпение овладевало им. Ему хотелось как можно скорее покинуть Африку, рискнуть уйти в открытое море, добраться до Америки, до Нового Орлеана. А там...

По вечерам, сидя в большой хижине, которая называлась

«дворцом», он вслух мечтал о будущем.

— Лишь бы добраться до Нового Орлеана, — твердил он, сжимая кулаки. — Там все пойдет хорошо. Меня никто не узнает: за это теперь можно ведь поручиться. Я отращу бороду и усы, которым позавидует любой корсиканский бригадир. Я переоденусь, загримируюсь. В Новом Орлеане у меня есть друзья, которые готовы жизнь отдать, если я этого потребую. Весь этот богатейший край тяготится пребыванием в союзе с янки. Страна явно тяготеет к близкой Мексике. Я организую заговор, мы прогоним янки, объявим территорию Луизианы самостоятельным государством. Потом...

Мечты его не знали пределов.

«Корсика» была спущена на воду в начале марта месяца 1824 года. Немедленно приступили к нагрузке в ее трюм съестных припасов и личного багажа императора и его спутников. Наполеон готовился покинуть свою африканскую империю.

Население Музумбо, привыкшее пассивно повиноваться Мшогире, столь же пассивно отнеслось и к распоряжениям Наполеона. Желание императора уехать на нововыстроенном судне никого не удивляло, никого, казалось, не беспокоило.

Белые спутники Наполеона волновались и горячились: всем им жизнь среди негров Бенгуэлы давно надоела, всем хотелось вырваться как можно скорее. Только одна мисс Джессика Куннингом, которая постоянно нервничала и отравляла Наполеону существование своими обвинениями, казалось, совсем не собиралась в далекий путь. У нее завелись таинственные знакомства среди жен или, вернее, вдов покойного Мшогире, и зачастую

Джессика исчезала неведомо куда, чтобы появиться снова тогда, когда ее меньше всего ожидали.

Отплытие «Корсики» было назначено на 11 марта 1824 года. Накануне все белые собрались в хижине, занятой Наполеоном. Пришла и Джессика.

— Так, значит, завтра поход? — осведомилась она сухо.

— Завтра! — ответил вместо Наполеона Джонсон.

Разговаривать с Джессикой никому не хотелось. Да и все были заняты не тем: завтра «Корсика», качавшаяся на мутных водах африканской реки, снимется с якорей и поплывет к берегам океана. Уйдет из этой отравленной земли на морской простор, навстречу новым приключениям, быть может, опасностям. Но что за беда! Лишь бы вырваться отсюда!

Решено было последний вечер ознаменовать небольшой пирушкой, и Джессика взялась за изготовление любимого напитка императора — черного кофе по-турецки. Кофе, оплаченный на вес золота, Наполеон получал из португальских побережных факторий в микроскопическом количестве, и только в исключительных случаях делился им с остальными белыми. На этот раз по чашке душистого и сладкого напитка должны были получить все.

После обильного и вкусного ужина Джессика принесла четыре чашки дымящегося кофе. Медленно попивая любимый напиток, Наполеон снова принялся мечтать вслух и развивать свои планы на будущее. По мере того, как кофе исчезал из чашек, взоры собеседников становились все более и более блестящими, голоса звучали громче, движения делались нервными, порывистыми. Хотелось смеяться, петь, кричать, двигаться.

— Что со мной? — с усилием поднимая руку к покрытому ка-

пельками пота лбу, вымолвил удивленно Наполеон. — Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо и вместе с тем таким слабым, как дитя. Джессика, чем вы опоили нас?

Джессика принужденно засмеялась. Джон Браун, заподозривший что-то неладное, отшвырнул недопитую чашку и поднялся, чтобы схватить смеявшуюся ирландку, но покачнулся и, нелепо размахивая длинными руками, упал на пол к ее ногам. Та с визгом отскочила, но остановилась на пороге.

Черная тень скользнула через порог хижины Наполеона, и рядом с Джесси Куннингом очутился высокий, стройный мускулистый негр, нагой до пояса, с торсом, украшенным грубо намалеванными желтыми, красными, и синими полосами.

Это был Рагим, племянник покойного Мшогира, царька страны Музумбо, тот самый, который пропал без вести полтора года тому назад после боя с «великой африканской армией» возле столицы Музумбо.

— Шакалы! — вымолвил он, наступая ногой на тело лежавшего на полу хижины Джона Брауна. — Черви! Я, «хуши» Музумбо, великий воин и вождь, наступаю пятой на вас. Отныне вы — мои рабы!

Он поднес к выпяченным губам свисток из кости и над окрестностями пронесся переливчатый свист. Хижина наполнилась черными фигурами воинов «хуши». Негры набросились на лишенных возможности сопротивляться Наполеона и его спутников и, опутав их веревками, вытащили наружу.

— Заковать в колодки моих рабов! — распорядился Рагим. — Отнести их к жерновам! Я не могу даром кормить их! Пускай работают...

XVI

Рабы Рагима и его супруги Джессики, царицы Музумбо. Ночные грезы. Год 1828.

Негритянский поселок из нескольких сот убогих хижин.

Хижины сплетены из тростинки, обмазаны глиной, покрыты остроконечными крышами-шапками из гнилой соломы.

На окраине поселка одна хижина, отличающаяся от других только тем, что ее стены покосились, облупились, покрыты дырами, а крыша наполовину разрушена.

Внутри этой хижины четыре вязанки сгнившей соломы, четыре тяжелых ручных жернова и четыре массивных обрубка темного дерева.

Четыре человека прикованы цепями к этим обрубкам. Цепи настолько длинны, что прикованный ими человек может делать два или три шага от колодки к каменным жерновам, а от жерновов к связке соломы, служащей ему постелью.

С рассветом к хижине тянутся, болтая, негритянки. Они несут на мельницу мешки с зерном — работа для людей, обитающих там.

Обросшие волосами, полунагие пленники «хуши» Рагима принимаются за свою каторжную работу, каменными пестами толкут в ступах зерно, обращая его в подобие грубой муки.

Женщины, собравшись у порога в кучку, весело болтают, ссорятся, кричат, иногда дерутся, чтобы, помирившись, снова приняться болтать.

Около полудня приходит жирный одноглазый негр, который приносит пленникам «хуши» Рагима глиняный кувшин с мутной

водой, несколько бананов и лепешку хлеба из просеянной муки. После полудня двухчасовой отдых, а потом та же однообразная, изнурительная, одуряющая работа. И ночью нет сна: в хижину набиваются комары. Иногда забегает собака и шныряет среди жерновов. Услышит, как беспокойно стонет один из обитателей хижины, — по-прежнему тучный человек с круглой головой, — и с тихим злобным визгом убежит из хижины.

Разбуженный ее визгом тучный человек поднимается, гремя цепями, вздыхает, жадными глотками пьет мутную и теплую воду из глиняного черепка, потом садится на чурбан, понутив голову, и смотрит в землю. И что-то чудится, что-то грезится ему далекое, невозвратное...

Угрюмые серые стены с большими квадратными окнами. Большой вымощенный двор. На дворе две сотни мальчиков и юношей. Все в треуголках, в камзолах. На ногах короткие до колен черные панталоны и белые чулки.

Снег покрывает мягким, пушистым пологом обширный двор Бриеннской военной школы. Что за радость для мальчуганов, учеников ее!

— Строить крепость! Строить крепость! — раздаются молодые голоса.

Сотни рук лепят из мягкого снега валы с контрфорсами.

— Разделимся на две партии! — предлагает кто-то. — Одни будут изображать англичан, другие французов. Англичане запрутся в крепости, французы будут брать крепость штурмом. Хорошо?

— Хорошо! Хорошо! А кто будет генералом?

— Маленький корсиканец! Бонапарт! Ты хочешь быть генералом?

Худенький мальчуган с выдающимся упрямым подбородком утвердительно кивает круглой, как шар, головой.

— Но при одном условии, — говорит он с южным акцентом. — Вы должны повиноваться мне беспрекословно...

И куда-то исчезает засыпанный снегом двор Бриеннской школы, и сотни мальчуганов, играющих в войну, и маленький крутолобый «Бонапартик».

Париж. Шумные улицы дней революции. Угрюмый многоэтажный дом, и на чердаке мансарда. Вся мебель — колченогий стол, заваленный бумагами, стул, железная койка со сбившимся в блин матрацем и дырявым шерстяным одеялом. Одно окно, сквозь мутные, давно немытые стекла которого с трудом пробиваются лучи солнечного света.

На койке сидит бедно одетый молодой человек с худощавым смуглым лицом, подперев голову руками. Думает. О чем?

О том, что он никому в мире не нужен, что жизнь проходит мимо него.

— Я предложу мою шпагу турецкому султану, — стиснув зубы, бормочет он. — Если будет нужно, я перейду в мусульманство. И тогда посмотрим...

Кто-то стучится в дверь.

— Войдите! — откликается оторванный от грез молодой человек.

Входит бойкая, красивая молодая девушка с корзинкой, наполненной глаженным бельем.

— Мадам прислала меня к вам, мосье Бонапарт, — щебечет она.

— Хорошо, хорошо, — кусая губы, бормочет «мосье Бонапарт».

— Мадам спрашивает, думаете ли вы заплатить за стирку белья? За вами уже почти сто франков, мосье Бонапарт.

— Убирайтесь к чер...

— Как вы нелюбезны, мосье Бонапарт, — притворно испуганно щебечет девушка, играя красивыми глазами. И потом доверчиво говорит:

— Бедненький! Так вы окончательно погорели! О, как мне жаль вас! Если бы у меня было сто франков, ей Богу, я дала бы вам половину, мосье Бонапарт.

Потом, из этой веселой и игривой толстушки вышла жена одного из лучших генералов Франции, одного из любимых маршалов Наполеона, знаменитая «мадам Сан-Жен», вечно ссорившаяся с Жозефиной Богарне и сестрами Наполеона...

Тулон осажден. Он занят англичанами, а с суши — французские войска, которые тщетно пытаются отнять у врагов родной город. Осада идет неудачно: армия дезорганизована, настоящих офицеров нет, командуют оборванными и невежественными солдатами генералы из мясников, сапожников, и приказчиков.

И, вот, к стенам Тулона прибывает присланный из Парижа тонкий молодой человек с крутым лбом и упрямым подбородком.

— Не знаю, — говорит презрительно командующий осадным корпусом генерал, — не знаю, на что, собственно, вас прислали ко мне парижские господа. Ну, попробуйте, постреляйте из пушек по англичанам...

И молодой Бонапарт роет новые траншеи, устанавливает свои пушки там, где никто и не подумал их поставить, громит укрепления Тулона. Английские фрегаты, подвергшись обстрелу, торопливо выбираются из порта Тулона. На стенах укреплений осажденного города взвигается белый флаг. Тулон сдается. И в войсках, столько месяцев тщетно осаждавших город, из уст в уста, переходит одно имя, еще вчера никому неизвестное.

— Бонапарт! Маленький капрал...

Сидящий на деревянном чурбане пленник Музумбо вздыхает и тревожно шевелится. Грезы роем теснятся в его истрадавшей душе. Видения призраками носятся вокруг него...

Вот Аркольский мост. Молодой генерал с французским знаменем в руках бросается к мосту, заваленному уже трупами его солдат.

— Вперед! Вперед! — кричит он.

Благословенный край, красавица Италия! Старый богатый город Милан. Мраморная сказка — великолепный миланский собор. Площадь, вся залитая тысячными толпами граждан Милана. По улицам медленно движется кортеж: на измученных походом изголодавшихся лошадях едут офицеры в мундирах французской армии, за ними оборванные солдаты. Гордый Милан у ног победителя. Его неисчислимы сокровища, накопленные веками, в распоряжении этих оборвышей и их генерала.

В ратуше этот генерал звонким металлическим голосом диктует свои условия представителям города, высчитывая миллионы контрибуции, отмечая по спискам неоценимые сокровища искусства, подлежащие отправке в Париж в качестве военной добычи...

Опять голодная собака прокрадывается к хижине пленников и

снует среди жерновов, не обращая внимания на неподвижно сидящего на чурбане человека с седой бородой.

А тот продолжает грезить, забывая о тяжелых ржавых цепях.

Опять Париж. Революция идет на убыль. Все устали. Всем хочется забыться. Шумно и буйно веселятся парижане, в вихре ба-лов забывая о недавно разыгрывавшихся на улицах и площадях кровавых сценах.

Дворец старых королей Франции. В его залах — совещание чинов военного министерства и членов Академии.

Обсуждается вопрос о походе на Египет. Намечаются участники экспедиции. Молодой Шампольон, стоя у окна, оживленно говорит кому-то:

— Но иероглифы можно разобрать. Дайте мне только время и средства, и я заставлю камни заговорить, и мир узнает, как жила древняя страна чудес, царство гордых фараонов. Генерал Бонапарт, командующий экспедицией, обещал мне полное содействие. Вы знаете, — у него удивительная голова.

А собирающийся идти походом на Египет, а оттуда на Индию — Бонапарт загадочным взглядом испытующе смотрит на лежащие на столе карты.

— Так вы говорите, Шампольон, — обращается он внезапно к ученому, — так вы говорите, что пирамиды существуют по меньшей мере сорок веков? Да, да! Солдаты! С вершин пирамид на вас смотрят сорок веков! Солдаты...

Абукир и Ваграм. Трафальгар и Аустерлиц. Тильзитское свидание. Полмира у ног «маленького капрала». Союз с Россией. Мечты о походе русско-французских войск через пустыни Средней Азии в другую страну чудес, в Индию. Грезы об ее сказочных

богатствах. А потом... Потом злополучный поход в Россию. Пылающая Москва. Тающая «великая армия». Бегство во Францию, отчаянные попытки дать отпор гонящимся по пятам союзникам, первое отречение от престола, пребывание на острове Эльба, «Сто дней», Ватерлоо, плен на «Беллерофоне», Святая Елена, томление, побег. И, вот... И, вот, — снова плен. Не плен — рабство у негритянского царька и обезумевшей ирландской горничной, которая гордо именует себя «царицей Музумбо» и дерется со своим чернокожим супругом из-за бутылки рисовой водки.

— Проклятие! — стиснув зубы, бормочет сидящий на чурбане пленник.

Другой пленник — почти саженого роста великан с гривой белокурых волос, рыжей бородой, космами падающей на грудь, и голубыми глазами, поднимается со своего убогого ложа и видит, что ночь пришла к концу, что небо уже сереет.

И видит согнувшуюся фигуру на чурбане.

— Джон Браун! — обращается к нему, встрепенувшись, Наполеон, — скажите, Джон Браун! Вы имеете представление о том, какой год, какой месяц сейчас? Давно ли мы рабы этого проклятого негра?

Подумав, Джон Браун отвечает:

— Год 1828. Месяц январь или февраль. Мы в плену у «хуши» Рагима — четвертый год...

— Мы скоро будем свободны! — уверенно говорит Наполеон. — Я знаю! Конец нашим страданиям и нашим испытаниям близок! Вы слышите, Браун?

Джон Браун молча пожимает плечами. Он не верит в то, что конец может быть близким.

Разве только ошалевшему от пьянства негритянскому царьку придет в голову приказать своим солдатам отрубить головы всем четырем пленникам.

— Вы не верите? — сердито переспрашивает Брауна Наполеон. — Напрасно! Когда я говорю вам... Стойте! Слышите? Что это?

В центре негритянского поселка раздался пронзительный вопль человека. Вопль прорезал воздух и оборвался.

— Кого-то зарезали, — прислушавшись, угрюмо вымолвил Джон Браун. И, подумав немного, добавил:

— Но нас это, конечно, не касается.

Но он был неправ: это касалось пленников.

XVII

О том, как «Царица Музумбо» снова перешла на сторону Наполеона. К океану. M-elle Бланш в фактории Джандуйя.

Вопль и еще вопль. Загремел большой деревянный барабан. Что-то грохнуло и прокатилось многократным ослабевающим эхом по потревоженным окрестностям. Топот ног бегущих людей. Детский плач.

— Слышите, слышите? — крикнул Наполеон, вскакивая. — Это голоса нашего освобождения! Вставайте, Джонсон! Вставайте, Мак-Кенна!

Начавшийся шум в центре поселка все разгорался и разгорался.

Черные фигуры мелькали мимо хижины пленников Музумбо. Послышался скрип колес и крик мула. Назойливо и тоскливо

выл, надрывая душу, деревянный рог, извещавший жителей столицы о свершившемся этой ночью великом событии; «хуши» Рагим скоропостижно скончался. У людей, увидевших труп Рагима, не оставалось ни малейшего сомнения в том, что смерть черного царька была действительно весьма скоропостижной: его горло было перехвачено ужасной раной от уха до уха, раной, которая почти отделила голову от туловища. И тут же валялся тот нож, которым был зарезан «хуши» Музумбо. Это был один из морских кортиков, завезенных в Музумбо спутниками Наполеона. С ним, с этим кортиком, никогда не расставалась мисс Джесси Куннинге́м, «царица Музумбо».

Рагим давно тяготился «белой колдуньей» и собирался отделаться от нее. Третьего дня Джесси от одного из близких к Рагиму людей узнала, что ее дни сочтены: Рагим или убьет ее, или продаст в рабство.

«Царица Музумбо» предупредила своего супруга на несколько часов: каким-то зельем усыпив его, она собственноручно перерезала ему горло; на улицах столицы Музумбо началось избивание сторонников Рагима сторонниками Джесси. И бойней распоряжалась сама Джесси.

Часов около восьми утра у дверей хижины пленников послышались голоса, топот ног и звон оружия.

— Вставайте! — крикнул Наполеон, бледный от волнения. — Это свобода!

— Или смерть! — проворчал, поднимаясь и звеня цепями, Джон Браун.

Но это была не смерть, а свобода...

Расправившись с Рагимом и его приверженцами, «царица

Музумбо» сообразила, что дальнейшая игра в этом направлении грозит ей слишком большими опасностями, и вспомнила о Наполеоне и его спутниках. И теперь она пришла диктовать им свои условия.

Условия эти были не сложны и для принятия их препятствий ни с чьей стороны не встречалось: пленники становились свободными. Джесси Куннингом обязывалась предоставить в их распоряжение все потребные средства для того, чтобы они могли добраться на пирогах к морскому берегу. Там была португальская фактория. Немногочисленные живущие в колонии белые, вне всяких сомнений, не узнают Наполеона: ведь весь мир считает его умершим.

Пять дней спустя освобожденные пленники, разместившись в двух плоскодонных пирогах, каждая из которых управлялась десятью неграми гребцами, — отчалили от болотистых берегов столицы Музумбо и поплыли к северо-востоку, к океану.

* *
*

Вплоть до отправления в путь Наполеон держался бодро, казался помолодевшим и по-прежнему способным переносить все трудности. Он принял самое деятельное участие в сборах в путь, в организации экспедиции, и оживленно толковал о том, что он предпримет, как только доберется до Европы.

Все время пребывания в Африке он оказывал знаки своего благоволения «английскому бульдогу», Джону Брауну, и несколько раз за день принимался больно щипать его за ухо, приговаривая:

— Помнишь день Ватерлоо, солдат? А? Подожди! Мы еще повоеваем!

Но как только пироги отчалили, оставив на берегу собравшихся обитателей «африканской империи», с императором стало твориться что-то странное: он сделался угрюмо-равнодушным ко всему, апатичным, сонливым. Взор его потерял былой блеск, на обрюзгших щеках появились странные желтые и фиолетовые полосы.

— Что с ним? — допытывался Джонсон у доктора Мак-Кенна.

— Почему я знаю?! — сердито отвечал тот. — Может быть, это какая-нибудь местная горячка, может быть, это болотная лихорадка. А вернее...

— Что же? Говорите!

— Вернее — просто в лампадке выгорело все масло.

— Так значит он... Нет, о, нет, Мак-Кенна! Этого быть не может! Он не умирает!

В ответ Мак-Кенна только пожал плечами и отвернулся в сторону. Предательская слеза скатилась с его ресниц на морщинистые смуглые щеки и затерялась в седой щетинистой бороде.

А прикорнувший на корме пироги Наполеон казался погруженным в летаргический сон. Его лицо сделалось прозрачным, как воск, и таким же желтым. Губы почернели. И только по ритмичному движению груди можно было узнать, что он дремлет.

Время от времени его уста шевелились. Как-то раз Джон Браун, которому показалось, что Наполеон зовет его, наклонился к спящему и услышал отрывистые слова:

— Вперед! Всегда вперед! Знамя, мое знамя! Рустан! Скачи к генералу Груши! Скажи, если он не подоспеет — все потеряно!

Слышишь? Все потеряно! Проклятые пруссаки! Франция...

— Он вспоминает о Ватерлоо! — сообразил Джон Браун.

В начале мая месяца в маленький порт Джандуйя на бенгуэском берегу вошел парусный бриг под флагом Северо-Американских Соединенных Штатов. Заход судна, да еще иностранного, в это гиблое место, оторванное от всего цивилизованного мира, вызвал форменную сенсацию. Местные власти в лице инвалидного капитана и полудесятка азартно игравших, спившихся португальских чиновников положительно растерялись, узнав, что экипаж «Независимого» намерен предпринять долговременную экскурсию вглубь края. Еще больше возросло общее удивление, когда узнали, что в экспедиции намеревается принять участие знатная дама, с которой экипаж судна обращался чрезвычайно почтительно, как с королевой. Называли ее «мадам Бланш». С нею был высокий, стройный молодой человек, ее сын. Того звали Люсьеном.

Знатные иностранцы, сойдя на берег, обратились к губернатору Джандуйи, капитану Лас-Розас ди Монтэ-Пьятто с просьбой сообщить все имеющиеся в распоряжении капитана сведения о стране Музумбо и о водных путях, ведущих туда.

Капитан дал самый отрицательный отзыв, как о стране Музумбо, так и об ее дорогах. По его словам, единственным заслуживающим внимания путем был водный путь по реке Шури или Чури. Во многих местах эта река теряется в заросших тростниками болотах, и поиск фарватера представляет почти непреодолимые трудности. Вот почему сами португальцы после нескольких неудачных экспедиций вглубь края оставили навсегда надежду проникнуть до столицы Музумбо.

— Опасно ли странствование по водам Чури?

— Очень! Не со стороны людей, нет: негры Бенгуэлы в общем довольно мирные. С белыми уживаются. Но со стороны природы... Гиппопотамы, крокодилы, огромная болотная змея... А, главное — кровопийцы-москиты и болотная лихорадка. Нет, нет, сеньора не имеет права рисковать своей жизнью. И зачем, собственно?

«Мадам Бланш» продолжала удивлявший капитана допрос:

— Что слышно о жизни Музумбо? Нет ли там белых людей?

Определенного ответа капитан дать не мог.

Да, да! Он вспомнил. Какие-то темные, но очень, очень темные слухи, в самом деле, носились. Но это было, дай Бог памяти, — три или четыре года тому назад. Что-то такое о «боге богов» громоносном Килору, который был спящим, а потом проснулся и превратился в «Живого Килору». Этот Килору, по всем признакам, какой-нибудь беглый белый матрос, сначала показался в стране Матамани, на каком-то таинственном острове. Потом он увел из города Гуру пять тысяч кафров в поход. Кажется, потом он вынырнул, действительно, в Музумбо еще при жизни старого мошенника Мшогира. Во всяком случае, — кафры, приходившие года три или четыре тому назад из Музумбо сюда, в факторию, упорно отмалчивались на все вопросы по этому делу, но покупали такие предметы, которые не в ходу у негров: веревки, гвозди, плотничные инструменты.

Потом что-то поговаривали, будто «Живой Килору» исчез, а страной Музумбо правит племянник старого мошенника Мшогира, такой же мошенник, «хуши» или «царь» по имени Рагим. И у

Рагима будто бы белая жена. Проверить все эти слухи нет возможности. Может быть...

Бравый капитан был совершенно сбит с толку, узнав, что «мадам Бланш» намерена предпринять отчаянную попытку проникнуть на шлюпках в страну Музумбо.

— Но это невозможно, сеньора, — вопил инвалид, хватаясь за голову. — Как Бог свят, это невозможно...

И, однако, «мадам Бланш» с тремя шлюпками отправилась в опасное плавание по болотам Чури или Шури.

Как «мадам Бланш» узнала о пребывании Наполеона в стране Музумбо?

Из газет.

В 1827 году в «Times» появилось одно из тех загадочных объявлений, которые Наполеон доверил «бутылочной почте», еще в дни пребывания на острове Мбарха. Это объявление пять лет пространствовало в океане, покуда бутылку не подобрало китоловное судно «Молли»; капитан Вильямс, найдя текст объявления и золотую монету, доставил объявление в редакцию «Times». Остальное понятно.

XVIII

Агония Наполеона. О том, как мистер Джон Браун пел «Марсельезу». Наконец-то! Эпилог.

Болота реки Чури. Огромное пространство стоячей воды, заросшей тростниками. Тысячи и тысячи больших и малых островков. Лабиринт, — нет, не один лабиринт, а сотни лабиринтов-проходов между островами. Земной рай для птиц, до убежищ

которых тут не может добраться злейший враг животного царства — человек.

И в этом царстве болотной лихорадки и миазмов — небольшой островок с лысой вершинкой.

Заходит в багровом тумане огненный шар солнца. С криками проносятся над болотами стаи краснокрылых фламинго, чибисов и куликов. Шуршат, шепчась о чем-то, камыши.

В этот вечерний час с юго-запада к островку подходили две туземные пироги, руководимые неграми лоцманами.

На передней слышались встревоженные голоса белых пассажиров, понукавших чернокожих гребцов:

— Скорее, скорее!

Гребцы выбивались из сил, но дело шло туго, потому что проход к острову почти сплошь зарос тростниками.

На корме, на куче тряпья лежал тучный человек с совершенно желтым лицом и закрытыми глазами. Из его запекшихся уст вырывалось со зловещим свистом затрудненное дыхание, а грудь судорожно вздымалась, восковые руки время от времени вдруг начинали шевелить пальцами. Казалось, что пальцы эти ищут какую-то невидимую нить, пытаются схватить ее.

— Доктор! Да сделайте же хоть что-нибудь, — со слезами в голосе обратился Джон Браун к внимательно смотревшему на восковое лицо Наполеона хирургу Мак-Кенна.

— Мне здесь делать больше нечего, — пожав плечами, отошел угрюмо доктор. — Он умирает. Это — агония. Самое лучшее — оставить его в покое.

— Доктор, доктор! — шептал Браун, сжимая руку врача.

— Но как же это? Господи Боже! Он умирает! Нет, нет! Этого быть не может...

Пирога, наконец, продралась сквозь заросли и уткнулась носом в прибрежную грязь.

Умиравший император зашевелился, из уст его вырвался слабый стон. Веки дрогнули, но не поднялись.

Джон Браун, Джонсон, Дерикур и Мак-Кенна бережно подняли Наполеона, на руках вынесли его из пироги. Он был довольно тяжел, так что несшие тело Наполеона люди брели с трудом.

— Положим его здесь, — предложил Мак-Кенна, указывая на сухое местечко у берега. Но больной, словно понимая, о чем идет речь, застонал, задрожал всем телом и почти закричал:

— Вперед! Ради всего святого, вперед! Выше, выше!

Его носильщики переглянулись и понесли его дальше. Едва они, уставая, замедляли шаги, как слышался опять тот же хриплый, полный муки крик:

— Вперед, вперед!

И они шли, они поднимались.

— Выше! Выше! — стонал, не открывая глаз, умирающий император.

И смолк этот крик только тогда, когда грузное тело Наполеона лежало на самой вершине холма, откуда на огромное пространство видны были болота Чури.

Багровые лучи солнца падали прямо на восковое лицо императора, но когда Мак-Кенна вздумал защитить его лицо от света, развесив на веслах какую-то тряпку, Наполеон тревожно завозился, застонал:

— К свету! К свету! — молил он.

И успокоился, когда Джон Браун нетерпеливо сорвал и швырнул в сторону заслонявшую солнце тряпку.

— Трубач! — неожиданно звонким голосом крикнул Наполеон, приподнимаясь и раскрывая широко глаза. — Труби сигнал! Барабанщики! Бейте тревогу! Солдаты! Сомкни ряды! У знамени, у моего знамени! Друзья! Вы слышите? Помощь близка! Надо продержаться еще четверть часа, и мы будем спасены! Трубач! Играй «Марсельезу»!

— Пойте «Марсельезу»! — посоветовал Джону Брауну Мак-Кенна. — Ведь у вас голос есть... Лишь бы он слышал знакомые звуки.

Тряхнув головой, Джон Браун громким и звучным, но дрожащим от волнения голосом запел слова великого французского гимна.

При первых же звуках его пения лицо Наполеона прояснилось, на устах показалась улыбка, глаза просветлели, взор стал осмысленным.

— Так, так, мой трубач! — прошептал он. — Громче, громче! Я награжу тебя! Я повешу на твою широкую грудь орден «Почетного Легиона», тот самый орден, с которым я не расставался десять лет... Громче, трубач.

И Джон Браун, напрягая все силы, бросал в пространство слова призыва к бою: «Грядет день славы».

Пронзительный женский крик отозвался на этот голос от подножья холма. Вылетевшая из тростниковых зарослей шлюпка врезалась в берег рядом с пирогой, привезшей Наполеона. Стройная белая женская фигура спрыгнула на островок и стрелой помчалась на вершину холма.

— Наполеон! Мой Наполеон! Я нашла тебя! Я иду к тебе! — кричала полным слез голосом бегущая женщина.

— Еще три минуты, — прошептал совсем слабым голосом Наполеон.

— Еще... две... Еще... одна минута.

— Наполеон!

Добежавшая до вершины холма женщина охватила неподвижное тело кумира и прильнула к его холодеющему лицу.

Еще на миг искра жизни вспыхнула в теле умирающего. Наполеон раскрыл глаза и увидел Бланш и Люсьена.

— Наконец-то! — вымолвил он с радостной улыбкой.

Потом глаза его сомкнулись навеки. Он умер. В болотах африканской реки Чури, на вершине холма. И когда его уста испустили последний вздох, — багровый шар солнца, послав прощальный привет праху цезаря, тихо опустился за горизонт. Наступила тропическая ночь.

* *
*

Мое повествование кончено, дорогой сын мой. Рукопись перед тобой. Бегло проглядывая то, что я написал, я с тревогой думаю:

— Поймет ли мой сын все то, что здесь рассказано? Поймет ли он чувства своего отца, судьба которого оказалась на много лет связанной с судьбой величайшего воителя всех времен и народов, с судьбой Наполеона?

Не осудит ли сын мой своего отца: я, англичанин и солдат, я, дравшийся против Наполеона, — потом сделался одним из преданнейших ему людей и грудью защищал его.

Почему?

Я сам нахожу только одно объяснение: он был великим человеком, а я — самым обыкновенным. Но и он, и я — мы были солдатами. Вот и все. Постарайся понять это. Не поймешь — тем хуже для тебя...

Мне осталось досказать лишь немного.

Труп императора Наполеона, говорят, похоронен на острове Святой Елены, близ Лонгвуда, в так называемой «Гераниевой роще», у того ключа, к которому по утрам приходил верный слуга, Наполеона, Аршамбо, чтобы в серебряный кувшин с вензелями императора набрать воды для своего господина.

Неправда!

Там зарыта восковая кукла.

Прах Наполеона лежит в болотах Африки, в глубокой могиле на вершине холма. Эту могилу мы, спутники великого воителя по его последним походам, вырыли своими руками.

На могиле Наполеона нет креста, нет каменной плиты...

У этой могилы не стоят усачи гренадеры в киверах и с ружьями. Ее сторожат краснокрылые фламинго.

На этой могиле не служат панихид священники: могильный сон императора глубок и спокоен. А если спящий великий воитель и слышит звуки, то лишь голоса птиц, стаями носящихся над болотами, да залпы небесной артиллерии, — раскаты грома...

«Мадам Бланш» взяла всех спутников Наполеона с собой и доставила их в Европу. Мне, Джону Брауну, она дала то, что я сам пожелал получить из наследства Наполеона: его Железный Крест Почетного Легиона. Этот крест Наполеон сам обещал мне, когда я пел на вершине холма Чури «Марсельезу»...

С тех пор, как я вернулся в Лондон, аккуратно каждый месяц я получаю от известных банкиров Ротшильдов сумму в двадцать фунтов стерлингов. Я многократно упрашивал мистера Натаниэля Ротшильда сказать мне, кто присылает эти деньги. Но банкир ответил с гордой улыбкой:

— Мистер Браун! Это — коммерческая тайна! Мы умеем исполнять волю наших клиентов.

Надежды Джонсона получить за освобождение Наполеона миллион франков, обещанный Паолиной Боргезе, не осуществились. Но я знаю, что Джонсон все же кое-что получил. И, должно быть, получил порядочную сумму. По крайней мере, он, — когда я женился на дождавшейся моего возвращения Минни, — сунул мне в церкви пакет, прошептав:

— Спрячь, спрячь, дуралей. А то «дракон в юбке» узнает.

Когда я дома развернул этот пакет, я нашел там три тысячи фунтов стерлингов. Разумеется, я смотрел на эти деньги, как на приданое моей Минни. Они и сейчас лежат в банке, и я не трогаю ни копейки процентов. Вот, вырастешь, сын мой, и эти деньги пригодятся тебе...

Доктор Мак-Кенна живет в Лондоне, практикует. Славится в качестве одного из выдающихся хирургов и заведует целым госпиталем. Джонсон ужасно постарел и совершенно под башмаком у своей жены. Отводит душу только тогда, когда ему удастся вырваться на часок ко мне. И тогда он сидит за моим столом, за кружкой эля, и, подмигивая, говорит:

— А помнишь, Джонни, его, Бони? А помнишь, как он постоянно теребил тебя за ухо? А помнишь, как, умирая, он заставил тебя орать диким голосом «Марсельезу»? Хо-хо-хо! Здорово мы с

тобой, Джонни, побродили... Как только живыми выползли... Дай-ка, Джонни, еще кружечку эля. Выпьем в честь его!

Мисс Джессика Куннингем, вернувшись на родину, некоторое время заставляла общество говорить о себе.

Лорд Джеймс Ворчестер уцелел при катастрофе, погубившей и нашу «Ласточку» и его судно.

Он оказался единственным человеком из экипажа «Гефеста», подобранным два дня спустя проходившим в тех водах австрийским крейсером «Мария Терезия». Уже тогда Ворчестер был в таком состоянии, что австрийцы, не имея возможности установить его личность, поместили его в доме умалишенных в Триесте. Через несколько лет у Ворчестера проявились проблески сознания, его выпустили из дома умалишенных, и он вернулся в Англию.

О ком должен я еще упомянуть из знакомых мне лиц?

Ах, да: чуть не позабыл!

Мистер Питер Смит, скромный негоциант...

Как-то однажды я из любопытства посетил парламент. Шли бурные дебаты из-за пошлин на привозный хлеб. Настроение было приподнятое. Спикер выбивался из сил, пытаясь заставить почтенных депутатов не кричать и не стучать кулаками.

И вот, когда страсти разыгрались вовсю, когда большая половина парламента принялась вопить, требуя, чтобы ответ на весьма щекотливые вопросы дал первый министр, лорд Голланд, — на трибуну легкой походкой взбежал человек с седыми волосами, орлиным носом и по-юношески живыми и блестящими черными глазами.

— Голланд! Голланд! — неистовствовали депутаты.

Он оглянул все скамьи с вызывающей улыбкой, стукнул кулаком по пюпитру с такой силой, что гул пошел, и крикнул:

— Ну! Голланд перед вами! Чего вы от Голланда хотите, лорды и джентльмены?

Что он потом говорил — я не знаю. Слышал слова, но не помню; у меня кружилась голова, и сам я шептал про себя, не веря глазам:

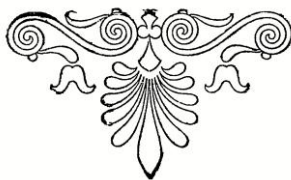
— Да ведь это же — мистер Питер Смит...

Может быть, он узнал меня. Во всяком случае, — я готов присягнуть — он ласково улыбнулся мне и дружелюбно кивнул головой.

Дня через два я имел счастье снова увидеть мнимого мистера Смита. Он сам пожаловал ко мне. Мы долго разговаривали с ним о вышеописанных событиях, связанных с именем императора Наполеона. Голланд взял с меня слово, что я ни в коем случае не опубликую своих записок, и я намерен сдерживать свято свое обещание.

Если я умру, то и ты, сын мой, должен помнить данное мной обещание.

Ну, вот, мои мемуары кончены. Я кладу перо в сторону, написав последнее слово:



Евгений Харитонов

ГЛАВНЕЙШИЙ ИЗ ВСЕХ ВОПРОСОВ...

Точно неизвестно, кому из фантастов первому пришла в голову безумная идея изложить реальные исторические события в сослагательном наклонении. Большинство исследователей НФ ищут истоки «альтернативной истории» в англо-американской литературе. Между тем, элементы жанра обнаруживаются уже в повести Осипа Сенковского «Ученое путешествие на Медвежий остров», появившейся еще в начале XIX века. Впрочем, в данном случае приходится говорить об «эмбриональном» состоянии популярного ныне направления.

Это может показаться странным, но фантасты вообще очень долго не рисковали ставить вопрос ребром: «А что было бы, если?..». Возможно, потому, что туманное Будущее привлекало сочинителей фантазий куда больше, чем не менее туманное Прошлое. Если же фантасты и отправляли своих героев по реке Времени «назад», то, грубо говоря, с крайне ограниченным кругом художественных задач: оправдать использование сочинителем машины времени или доказать, например, что пришельцы из космоса уже когда-то посещали нашу планету. В ранней фантастике Прошлое нередко оказывалось еще и одним из вариантов Утопии — пассаистической (т.е. устремленной не в будущее, а как раз наоборот); в устоях минувших веков некоторые утописты видели идеальное государство будущего.

Так или иначе, фантасты не стремились серьезно осмыслить

(не говоря уже о том, чтобы переосмыслить) события давно минувших дней, дабы обнаружить там истоки актуальных проблем современности. Исторические реалии, хоть и приправленные художественным вымыслом, не подвергались серьезной «препарации».

Как было уже сказано, затруднительно в истории мировой фантастики отыскать пионера «альтернативной истории». Но вот с датой рождения жанра в российской литературе разногласий, вероятно, не будет. Это произошло в 1917 году, когда московский «Журнал приключений» опубликовал повесть Михаила Первухина «Вторая жизнь Наполеона». Что было бы, если бы Наполеону удалось сбежать с острова Святой Елены — места последней его ссылки? По сюжету, ему не только удастся покинуть остров, но и существенно повлиять на дальнейшее развитие мировой истории, создав новую могущественную империю в Африке.

Вряд ли случайно «Вторая жизнь Наполеона» появилась на свет именно в 1917 году, когда заново переписывалась история отдельно взятой страны.

Имя писателя и журналиста Михаила Константиновича Первухина (1870-1928) после 1917 года было вычеркнуто из русской литературы. Сегодня оно известно разве что литературоведам и знатокам фантастики. А между тем, это был один из самых одаренных фантастов начала XX века, автор свыше 20 НФ-произведений.

М. Первухин родился в Харькове, здесь же закончил реальное училище и девять следующих лет отдал службе в Управлении Курско-Севастопольской железной дороги. Но в 1900 году из-за осложнений со здоровьем он был вынужден перебраться в Крым.

Здесь и началась его литературная деятельность. Он организовал газету «Крымский курьер», которую возглавлял до 1906 года, и издал первый свой сборник рассказов «У самого берега Синего моря» (1900). В 1906 году он покидает Россию и в поисках лечения уезжает жить в Италию, однако не прекращая активного сотрудничества с российской прессой. В Италии он начинает писать научно-фантастические рассказы и повести, которые с 1910 года регулярно появляются (часто под псевдонимами «М. Волохов», «К. Алазанцев», «М. Де-Мар») на страницах «Вокруг света», «На суше и на море», «Мир приключений», «Природа и люди» — основных изданий, публиковавших в те годы фантастическую и приключенческую прозу.

Тематика ранних рассказов и повестей Первухина вполне традиционна для фантастики той поры: лучи смерти, путешествие на автомобиле к Северному полюсу, загадочные обитатели морских глубин, необычные изобретения. И все-таки эти произведения резко выделялись на общем фантастическом фоне уже в силу литературной одаренности автора.

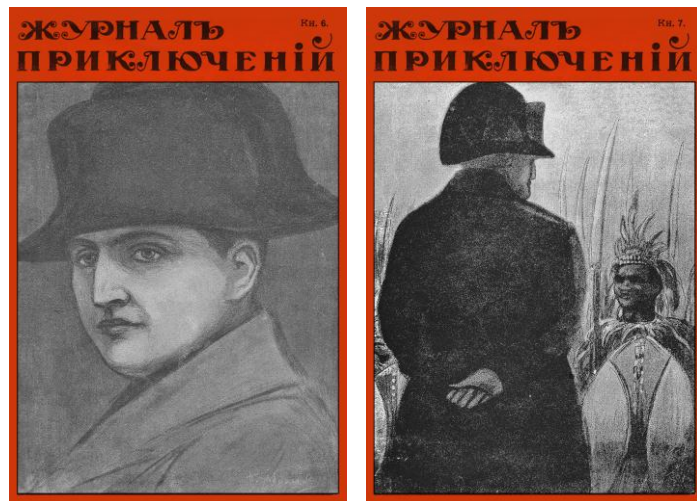
«Вторая жизнь Наполеона» по понятным причинам стала последней публикацией Михаила Первухина на Родине. Избранный писателем художественный метод анализа исторических событий (а на деле — анализ современности) противоречил учению марксизма-ленинизма. Но в 1924 году в Берлине вышла главная книга писателя — историко-фантастический роман «Пугачев-победитель». Обращение к одному из самых сложных периодов российской истории не было случайным. «Что было бы, если бы в свое время Пугачев победил? — написано в предисловии к первому изданию книги. — Этот вопрос не однажды приходил в

голову нам, русским, судьбой обреченным увидеть нашу Россию побежденной вторым «университетским Пугачевым», который, кроме «свободы» и «власти бедных», этих старых испытанных средств затуманивать разум народный, принес с собой яд много сильней, — учение Карла Маркса, то зелье, каким, по счастью для тогдашней России, еще не располагал Емельян Пугачев».

Время неумолимо. В 1994 году, спустя 70 лет, усилиями уральского знатока и библиографа фантастики И. Г. Халымбаджи, «Пугачев-победитель» был переиздан. Книга не устарела — ни по языку, ни по тематике. Она и сегодня — образец качественной литературной фантастики. Но роман пионера «альтернативной истории», увы, оказался незамеченным даже вездесущими любителями фантастики. Незвестные имена их не интересуют...

ИСТОЧНИКОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Повесть Михаила Первухина «Вторая жизнь Наполеона» печатается в современной орфографии по первым публикациям в «Журнале приключений» (Книги VI и VII) за 1917 год, Москва, Типография Т-ва И. Д. Сытина.



Статья Евгения Харитонов «Главнейший из всех вопросов...» печатается по публикации в журнале «Если», № 10, 2000 г., стр. 239-241.

СОДЕРЖАНИЕ

М. К. Первухин

«Вторая жизнь Наполеона»

Повесть

Глава 1..... 5

Глава 2..... 161

Евгений Харитонов

«ГЛАВНЕЙШИЙ ИЗ ВСЕХ ВОПРОСОВ...

Статья 283

Источниковая библиография..... 287

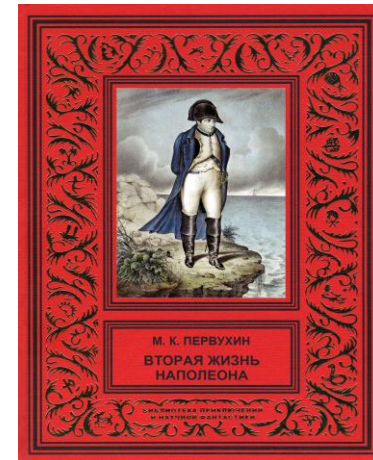
Электронное
литературно-художественное издание

БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ И
НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Выпуск 1

Михаил Константинович Первухин

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА



Все замечания, предложения и пожелания просьба направлять по адресу
aleks.altx@yandex.ru



1884